



В номере:

Наши современники

Сергей Андронаки. *Встречи с Германом Титовым* 3

Очерк

Виктор Панько. *Памяти Елены Прекрасной* 4

Проза

Валерий Реницэ. *Игра-мечта* 7

Михаил Попов. *Идея* 18

Георгий Каюров. *Эй! Ганна* 41

Александр Балтин. *Пропавшие дети* 44

Владимир Шатров. *Личное дело сержанта Бессарабова* 48

Владимир Пенчуков. *Получите - распишитесь* 60

Николай Еленин. *«Шпере ши ара»* 70

Гость номера

Алексей Карелин. *Скорбь* 74

Поэзия

Юлия Родичева 87

Жерминаль 89

Анатолий Мирошниченко 91

Памяти поэта

Анна Остапенко 93

Басни

Валентин Портас 95

Дебют

Роман Солодухин 96

Ирис Варданян 97

Дневник путешественника

Борис Куделин. *В поисках попутного ветра* 99

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.
Выпущено было 10 номеров. Выпуск возобновлен в 2009 году.

**Журнал «Наше поколение» готовится при творческом участии:
Международного сообщества писательских союзов
Союза писателей России
Московской городской организации Союза писателей России**

Учредитель

Козий Александра Петровна

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

Редколлегия:

Главный редактор

Георгий КАЮРОВ

Редактор интернет-журнала

Виктор ХАНТЯ

Главный бухгалтер

Ольга ДОДУЛ

Редакционный совет номера

**Николай Переяслов, Михаил Попов, Владимир Силкин, Дмитрий Нечаенко,
Ольга Бедная, Анна Кашина, Юрий Харламов, Александр Милях, Алексей Дука,
Виктор Хантя, Матвей Левензон, Дмитрий Градинар, Максим Замшев, Иван Дуб,
Анна Малдофа, Маргарита Сосницкая, Виталий Ткачев, Сергей Маслоброд.**

Литературный редактор

Вера ДИМИТРОВА

Корректор

Светлана БРОНСКИХ

Художники-иллюстраторы

Эдуард МАЙДЕНБЕРГ

Фотограф

Валерий КОРЧМАРЬ, Юрий ГЕРАЩЕНКО

Дизайн

Издательский Центр «Наследие»

Вёрстка

Дмитрий МАЗЕПА

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: nashepokolenie@pisem.net

www.nashepokolenie.com

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена.
Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать
в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.

Сергей АНДРОНАКИ

Встречи с Германом Титовым

Герман Степанович Титов был легендарным человеком, служил в первом отряде космонавтов и был вторым человеком в космической истории. В жизни мне пришлось сталкиваться с этим человеком несколько раз.

Первый раз на Байконуре. Герман Степанович, генерал-полковник, в то время был нашим командиром – заместителем командующего Главным управлением космических средств МО СССР (ГУКОС). Я был капитаном и в тот день дежурил на оперативно-техническом пункте управления (ОТПУ). Титов, находясь в командировке, зашел к нам. Вместе со мной на ОТПУ находились еще два офицера оперативного отдела, мы готовили план работ на следующий день. Я, как положено по Уставу, представился, доложил о состоянии дел, дежурный по ОТПУ должен быть в курсе всего, что касается подготовки к пускам ракетоносителей (РН) и космических аппаратов (КА), о состоянии воинской дисциплины, энергоснабжении и жизнеобеспечении космодрома, т.е. обо всём, что является в ведении главного инженера Байконура. Герман Степанович с нами поздоровался, задал несколько вопросов. Несмотря на чин и регалии, он был простым человеком и располагал к непринуждённой беседе, любил рассказывать о своей жизни. Мы его расспрашивали о первом отряде, как он туда попал и, конечно, о Юрии Гагарине. Он признался, что чисто по-человечески завидовал Гагарину, что именно он был выбран Королёвым для первого полёта, хотя профессионально они были все готовы. Тем не менее Титов признавал, что Гагарин был лучшим среди них и заслуживал быть первым.

Вторая «встреча» с Титовым состоялась по телефону. Опять же я был дежурным по ОТПУ, шла подготовка к пуску КА (разведчика). Отсчет времени, положенный для выхода КА на орбиту, еще не закончился, как раздался звонок. Тут надо пояснить, что в кабинете дежурного по ОТПУ было телефонов штук восемь: городской, внутренний, прямой с начальником Байконура, прямой с главным инженером, дальняя связь с Москвой, прямой с Титовым, с дежурным по командному пункту космодрома и засекреченная связь (ЗАС), т.е. закрытая. Я снял трубку телефона закрытой связи, представился, как положено по Уставу, а там мне говорят: «Здравствуй, с вами говорит Титов. Андронаки, доложите, куда упал объект», т.е. КА. Я немного растерялся, так как о том, что объект упал, я еще не знал. «Извините, товарищ генерал-полковник, я не готов пока ответить. Разберусь и

доложу». А он: «Быстрее разбирайтесь, так как я должен доложить Горбачеву». Положив трубку, я стал размышлять, почему в Москве уже известно, что КА упал, а я, будучи дежурным по ОТПУ главного инженера, в чьи обязанности входит знать первым обо всем, ничего не знаю. Я отправился к баллистикам и узнал, что пуск произведен неудачно и КА упал, а они в данный момент проверяют расчеты. А дело было так. На Дальнем Востоке пограничный наряд увидел, как в озеро, граничащее с Китаем, упал светящийся объект. И они сразу же доложили по команде, и информация по линии КГБ быстро дошла до Ген. секретаря ЦК КПСС, а в то время отношения с КНР были натянуты, и все боялись, что спутник-разведчик попадет в руки КНР. И только после того, как баллистики установили, что спутник упал на нашу территорию, все успокоились. Спутник, естественно, подорвали, как это обычно и бывает в таких случаях.



Герман Титов

Последняя встреча с Германом Степановичем Титовым состоялась в Санкт-Петербурге, в Космической академии им. Можайского, где я продолжал службу после Байконура. А это был 1992 год, когда Советский Союз уже развалился и союзные республики одна за другой объявляли о своём суверенитете. Я принял решение вернуться на родину, в Молдову, и продолжить службу там. Уже были выполнены все формальности, подписан приказ МО РФ об откомандировании меня в распоряжение МО РМ. И вот я иду по территории Академии, а навстречу мне генерал-полковник Титов, прибывший в качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии, и мой последний командир, бывший главный инженер Байконура, а ныне начальник НИИ-50, тоже член Государственной экзаменационной комиссии, генерал-майор Меньшиков, который меня очень хорошо знал, именно он ходатайствовал о моем переводе на родину. Поравнявшись с генералами, я, согласно воинскому этикету, отдал воинскую честь, они меня остановили, поздоровались за руки, и Титов говорит: «Это тот самый предатель, который бежит из Российской Армии?» Я ему отвечаю: «Но почему же сразу предатель, товарищ генерал-полковник, я по зову сердца еду домой, где моя Родина, где мои родители». И тут Титов говорит: «Не переживай, майор, я пошутил, ты всё правильно делаешь, поздравляю и желаю тебе успехов, удачи». Мы попрощались. Это была последняя встреча с легендарнейшим человеком, пожалуй, одна из самых запомнившихся в моей жизни.

Виктор ПАНЬКО



Памяти Елены Прекрасной

К семи часам утра движение машин и людей на автовокзале в Бельцах оживляется. Сюда всё чаще подъезжают, к местам своих стоянок, автобусы и маршрутные такси из прилегающих к северной столице районов, да и пассажирский транспорт дальнего следования самых разных направлений.

- Кишинёв!
- Едем в Кишинёв!
- Кому в Кишинёв! Прямо сейчас!
- Кишинёв!

Недостатка в транспортных средствах в это время не наблюдается, даже существует очередь: одни уедут раньше, другим ещё предстоит некоторое время подождать. За 51 лей ты можешь в течение двух или двух с половиной часов попасть в столицу Молдовы на Северный автовокзал, а оттуда – добираться, куда тебе надо.

Многим надо в республиканские медицинские диагностические центры и другие лечебные учреждения. То, что наше общество сегодня больно, не является большим секретом.

Я собрался в Кишинёв по своим делам, и как раз в эти ранние часы мне было удобно отправляться из Бельц, чтобы успеть решить намеченные на день задачи. Сел на переднее сиденье в микроавтобусе с фалештскими номерами и прокручивал в уме предполагаемые действия. Пассажиры один за другим занимали места. И тут произошла эта встреча с Сергеем. Мы с ним не виделись лет тридцать, и потому я его еле узнал. Некогда худощавая и стройная его фигура обогатилась заметным животом, на голове обозначились залысины, и в волосах появилась седина, свойственная людям пожилого возраста. Мы когда-то заочно учились в одной группе на филфаке, вместе готовились к государственным экзаменам, нас тогда связывали общие интересы, а потом наши пути разошлись, и мы много лет ничего не знали друг о друге. И вот мы сидим рядом и пользуемся возможностью поговорить, вспомнить былое, обсудить проблемы сегодняшнего дня. Как обычно бывает в подобных случаях, мы переходим постепенно от внимательного разглядывания друг друга и традиционных вопросов «А помнишь?» – к современной тематике. На мой взгляд, люди нашего возраста, отличаются от современной молодёжи одной хорошей особенностью – общительностью и желанием поговорить. Мы ещё не освоили возможностей мобильных телефонов и плееров, чтобы закрывать уши от внешнего мира и вести себя отрешённо в присутствии всего света, напоминая каких-то «сдвинутых по фазе» индивидуумов, которым всё, как говорится, «до лампочки». Хорошо это или плохо – сразу и не поймёшь, но люди моего поколения ещё способны живо интересоваться окружающим миром и воспринимать его близко к сердцу. Несмотря на искреннюю радость первых минут нашей встречи, мне показалось, что Сергей чем-то сильно озабочен. Я помнил его другим – весёлым, энергичным, жизнерадостным. Теперь же он выглядел каким-то вялым, задумчивым и грустным. «Может быть, дело в возрасте, – подумал я. – Но это на него не похоже вроде. Или – заболел?! Теперь все болеют». Мне захотелось узнать причину этих изменений, и я попытался осторожными вопросами выяснить её. Оказалось, на здоровье он не жалуется, в семье и на работе у него всё в полном порядке, живет в относительном достатке, и поводов для особого беспокойства нет. Но его явно что-то гложет и не даёт покоя. Я решил спросить его об этом прямо:

– Серёжа, ты сильно изменился, может быть, это – возрастное?! Но вряд ли ты мог поддаться возрасту настолько, чтобы изменить свой характер. У тебя что-то случилось? Что-то беспокоит? Скажи, если это не секрет, конечно.

– Понимаешь, – начал он задумчиво, – напрямую этот случай, происшедший недавно, ко мне лично не имеет никакого отношения. Но вот уже три недели он не выходит у меня из головы, и я ничего не могу с собой поделать. Куда ни пойду – как будто она со мной всегда рядом.

– Кто «она»?

– Да посторонний человек совершенно. Елена. Лена... Елена... Её можно было бы назвать Елена Прекрасная. Но, к сожалению, её уже нет...

– Как же так? Что случилось с нею? Расскажи. Может, легче станет.

– О-ох, Витя! Разве ты не видишь, что теперь вокруг делается? Возьми те понятия, которые были для нас самыми ценными, самыми дорогими. Родина. Отечество. Народ. Любовь. Что от них осталось? Сегодня матери оставляют своих малолетних детишек без материнской ласки и тепла на престарелых родителей,

соседей, дальних родственников и Бог знает на кого ещё. Покидают свою Родину и уезжают на чужбину на годы за «золотым тельцом». И оставляют без присмотра не только своих детишек, но и родителей, давших им когда-то жизнь, и уезжают в другие страны выносить горшки из-под чужих стариков... Родина, получается, для них, в сравнении с деньгами, ничего не значит! Главное – деньги! Наши неграмотные и бедные родители, деды и прадеды были, оказывается, по сравнению с нами, теперешними в десятки раз более патриотичными, доброжелательными и честными. Что только ни предпринимается для того, чтобы испоганить, обесмыслить, выхолостить и сфальсифицировать великое чувство «любовь»! Или «дружба». Ты знаешь историю моей дружбы с Лёней? Мы с первого класса сидели за одной партой. У него не было братьев и сестёр и у меня – тоже. Когда в шестом классе я тонул в четырехметровом омуте и все, кто там был, в панике убежали, а меня вода уже выбрасывала, чтобы поглотить навсегда, Лёня, мой лучший друг, вытащил меня с того света. Мы дружим до сих пор. Вот ты смотришь сотни телепередач. Много ли ты видел фильмов о настоящей мужской дружбе? Чёрта с два! Если, допустим, я наберусь смелости и скажу сегодня публично, что я люблю своего лучшего друга Лёню, который (в шестом классе!) спас мне жизнь, и что мы дружим много десятилетий, то наше «демократическое» общество уже дошло до той границы нравственности и морали, что я могу ожидать от сопляков, возмнивших себя психоаналитиками, вопроса о том, что, коль я сам признался, что люблю своего друга, то не значит ли это, что я – гей? Тьфу! Пошлость стала мерилom нашей культуры! Любовь! Что может быть светлее, нежнее и прекраснее этого чувства?! В молдавском языке есть тоже такие слова «dragoste», «iubire», но, на мой взгляд, тонкости этого чувства лучше передаёт слово «dor». «Dor» – это непреодолимо сильное желание видеть близкого, родного, единственного человека, обычно во время разлуки с ним. «Dor de tine», de tată, de mamă, de Codru, de sat, de Patrie – эти выражения передают любовь человека к человеку, к отцу, матери, Кодрам, селу, Родине... А что мы слышим сейчас? Что любовью, оказывается, можно «заниматься»! Как ты думаешь, не делается ли это специально? Чтобы смешать в одну кучу понятия «любовь» и «секс», «любовь» и «случка»! Как у собак! Чтобы задурить молодежи мозги, чтобы у некоторых сопляков, когда они услышат от нас с тобой выражение «я люблю свой народ», возник вопрос: «А как же это Сергей и Виктор могут заниматься любовью аж с целым народом? Ведь это – удел политиков, сношать свой народ в период между выборами. И, веришь, я уже стесняюсь утверждать, что я люблю друзей, родственников, люблю родителей, соседей, своё село, свою страну Молдову. Что я вообще кого-нибудь или что-нибудь люблю. Или – что я имею право любить. Просто, по-человечески любить. Любить, даже если некоторые «аналитики» утверждают, что несуществующая сегодня Бессарабия является румынской землёй, а я, как тебе известно, – не румын. Любить, даже если существующее сегодня, признанное мировым сообществом государство Республика Молдова тоже, по их же мнению, – одно из двух румынских государств, а я, как ты знаешь, ещё не румын. Любить, даже если в школах моей страны изучается история одного из национальных меньшинств, а я не принадлежу к этому меньшинству, потому что я – ещё не румын. А если же я не имею права всё это любить, то – как мне быть с любовью к могилам моих предков, которые похоронены здесь на протяжении двух с лишним столетий? И кто тогда я? Ведь мне тогда остаётся только одно – уповать на свои конституционные права гражданина, потому что я – гражданин Республики Молдова и горжусь этим гражданством! Но тут немедленно передо мной возникает некто с двумя гражданствами, и поэтому я должен уделить немало времени другим размышлениям: «Кто более матери-Родине ценен?» – человек с одним гражданством или с двумя. А может – с тремя? А если с тремя – он в три раза для Родины ценнее, чем я, тогда я должен осознать своё ничтожество и перестать рыпаться со своей непонятной никому любовью, еще к тому же и не ясно, любовь она или секс! К тому же еще и оказывается, что некоторые граждане априори уже по своему рождению любят нашу Родину значительно сильнее, чем другие. А значит, я как будто бы вынужден уже доказывать им, этим первым, что я тоже, видите ли, как будто по странной случайности люблю эту Родину не меньше, а может быть, даже больше, чем они, увлечённые поисками денег и благополучия. И ты хочешь, чтобы я чувствовал себя в «своей тарелке», когда содержимое этой «тарелки» кое-кто не прочь слопать с большим, прямо скажем, зверским аппетитом!

– А Елена? Ты говорил о Елене. Прекрасной...

– Да... Елена... Не даёт мне она покоя уже столько времени. Посторонний для меня человек. Она мне годилась в дочери, а может, и внучки. Хотя, нет, я ещё не так стар. Моей внучке только семнадцать... А она была старше... Да. Мы работали в одном здании на разных этажах. Я – на четвертом, а она – на третьем... Открытая, дружелюбная и приятная молодая женщина... Она ко всем относилась доброжелательно. И меня, по-видимому, особо не выделяла среди других... Может быть, она когда-то училась с моим сыном Сашей и потому всегда первая здоровалась, а иногда скажет пару слов, поинтересуется на-

строением... А может, знала второго сына – Виталика, да и двух младших: Витю и Илюшу. Кажется, она жила в нашем микрорайоне, в посёлке сахарного завода... Доверчивая такая была к людям, искренняя... И – очень красивая... Ведь бывает, что глядишь после дождя на радугу и думаешь: «Красиво». Или – на утренний рассвет. Или – на закат солнца. Или – на красную розу в росинках. Так и Елена... Смотришь на неё, и приятно, что есть на земле такие красивые люди... Что скрывать, я исподтишка любовался ею. Я даже фамилии её не знаю.

– Ну и что случилось?

– Случилось очень плохое. Не помещается в сознании... Я не знал об этом. Узнал потом, когда всё уже произошло... Лена что-то купила на базаре. Не свежее... Или – аллергия? А может, ботулизм. Короче – сильное отравление. Толком я до сих пор ничего не знаю... «Скорая» была вызвана своевременно. Попала она тогда в реанимацию. Так люди говорят. Якобы – можно было её ещё спасти. При современной медицинской технике и технологиях... Но для этого необходимо было переливание крови. Ох, Витя, *vai de sari postru*, как говорят молдаване. Горе на нашу голову!

– И что дальше?

– А дальше... Для этого переливания нужно было согласие мужа. А муж согласия не давал. Потому что, видите ли, он и, может быть, и она состояли в какой-то вере, которая не позволяла переливание крови. Раньше эти разные веры у нас называли сектами. Якобы плазму та вера допускает использовать, а кровь чужую – ни в коем случае! Бог якобы не позволяет. Ужас! Не знаю, насколько эти разговоры соответствуют действительности. Может, это так и было, а может, и нет. Но пока решали, время было упущено. Лена умерла. Похоронили на нашем кладбище. Такой шок для всех... Вот и думай... А ты говоришь – изменился я и грусти прибавилось... Значит, на то есть причины...

Захваченные беседой, мы и не заметили, как проехали Оргеев, Пересечино и въехали в столицу. Позади нас остались пожелтевшие от небывалой засухи поля и тенистые зелёные Кодры. Кишинёв встретил сотнями снующих автомобилей, запахом выхлопных газов и сероватой дымкой смога. И вот мы на Северном автовокзале. Пора выходить из маршрутки и ступать на грешную землю.

– Знаешь, что меня мучает, наверное, больше всего, – сказал мне на прощание Сергей. – То, что я не успел сказать Елене, что она – прекрасна. А ведь это было так легко сделать! Я действительно ею всегда восхищался. Проклятая моя стеснительность! А ведь мне, как и тебе, уже далеко за шестьдесят! Никогда, Витя, не стесняйся сказать красивому человеку, что он – красив! И пусть тогда все сопляки думают по этому поводу всё, что им захочется!



Валерий РЕНИЦЭ



Родился 11 июля 1959 года. Детство проходило в соседних селах Хоржешть, Минжир и Кэрпинень. Единственным источником твердых специальных знаний стала библиотека. К тридцати пяти годам за плечами были уже несколько курсов электрофизического, филологического молдавского, филологического латышского, а также журналистского факультетов. Есть неоконченный курс профтехучилища. Диплом один – журналиста. К двадцати годам закончил карьеру профессионального футболиста. Работал военным репортером «Радио Свобода» во времена конфликта на Днестре (1992), пресс-секретарем президента (2003-2004), главой администрации села Суручень Яловенского района (1999-2003). Основал Агентство новостей «Баса-пресс» и футбольный клуб «Сфынтул Георге». Имеется одна государственная и одна церковная награды.

Игра-мечта

1

Андрей обычно вспоминал сновидение в утренней полудремоте. Свет проникал сквозь частоколесницы вместе с пением петухов, но сила нового дня ещё не могла вытеснить из головы тени ночных приключений. Он опять забивал девять девяток в ворота противника под овации трибун и на радость своих товарищей по команде. Ребята наваливались на него, обнимая и прыгая, как в финале Лиги Чемпионов. Андрей никак не мог понять, почему во сне правила игры менялись: никогда на настоящем поле никто и ни за что не позволил бы ему пробить двух пенальти подряд. Это была его самая большая мечта: попасть девять раз из девяти в «паутину» ворот. Такое не удавалось никому, за исключением, может быть, великих футболистов.

После невероятной удачи на травяном поле, которое во сне простиралось не далее вытянутой руки и представлялось неопределенного цвета, возникала тут же вторая история. Он вдруг оказывался у себя во дворе и одним взглядом поднимал, безо всяких усилий, стройматериалы на второй этаж их нового строящегося дома. Белые котельцы один за другим поднимались с заднего двора и плавно опускались в ровные ряды, словно управляемый игрушечный вертолёт, на бетонную крышу. За ними следовала, как Баба-Яга на метле, бетономешалка, потом гладкие бордовые цементные мешки и всё, что отец хранил в гараже для строительства. Затем Андрей садился на порог их старого дома.

Он наконец проснулся и услышал, как отец возится с живностью. Мальчик выскочил из тёплой постели и, сутулясь от утренней прохлады, выбежал во двор. Андрей потянул за тяжёлые двери гаража. Стройматериалы были на месте. Папа уже второй месяц никак не мог нанять рабочих, чтобы те подняли, как он говорил, «эту дрянь» наверх. А мама не высылала ему долгое время деньги из далёкой заграницы. Там были свои трудности. Когда он вернулся в дом, на кухне закипал чайник, а на столе лежали помидоры и овечья брынза. Папа спешил на работу.

Андрею хотелось с кем-нибудь поделиться своими ощущениями ото сна, и он бросился наугад по сельским улицам в поисках товарищей.

– Андрей! – По ту сторону шоссе его окликнул Пегий, тренер футбольной школы. – Куда так рано?

Андрей медлил с ответом.

– Вы не знаете, когда начинаются тренировки?

В футбольной школе поговаривали, что Пегий вот-вот должен уехать. Жил он со своими родителями в Нью-Йорке, откуда приехал поиграть в «европейский футбол» в нашей высшей лиге. Потом, из-за травмы голени, остался учить футболу сельских ребятшек. Родом он был то ли из Мексики, то ли из Перу, и его сокровенным желанием было попасть в одну из этих стран и поиграть за хорошую южноамериканскую команду.

– Тренировки? Скоро.

– Как ваша нога, господин тренер? Они называли его тренером, хотя Пегий в школе занимался только отбором талантливых пацанов. Он также встречался один раз в неделю со старшими группами и беседовал с ними о психологии, но о чём он там им рассказывал, взрослые футболисты говорили с неохотой или отшучивались.

– Ну что, пойдём, присядем... – сказал Пегий, взглядываясь в карие глаза Андрея. – Что там у тебя? – улыбнулся тренер.

Они сели на узкую лавку возле лица.

– Да... даже не знаю, как начать... – почесал затылок Андрей. И рассказал, как сумел, о повторяющихся снах, о своей мечте и том, что правила игры в сновидениях совсем другие. Он также спросил учителя, почему во сне ему так легко всё удастся, а на поле и дома всё намного сложнее, а иногда вообще ничего не получается.

Пегий посмотрел в сторону горы Родна и монастыря. Андрей впервые смог так близко разглядеть учителя. Он не был негром, как шепотом его называли некоторые. У него были большие синие глаза, а кожа – кофейного цвета, как у южноамериканских футболистов. Он был модно подстрижен. Пядь окрашенных белых волос выделялась на чёрном как смоль гребешке и свисала на лбу. Из-за этой проседи он и получил кличку Пегий. Так наши предки называли лошадей тёмной масти с белой звездой на лбу.

– Ты не поверишь, – начал учитель, – но нет разницы между сном и реальностью, иначе говоря, то, что происходит с тобой ночью в сновидениях, это не плод твоего воображения.

– Как это? – длинные ресницы Андрея задрожали от волнения, как крылья бабочки, а едва заметные веснушки, рассыпанные вокруг курного носа, вдруг проступили ясными коричневыми точками.

– Сновидения – это не придуманные тобой ночные мультики, – продолжал Пегий, – а просто другая сторона действительности, другая сторона мира, в котором ты иногда путешествуешь в тёмное время суток и действительно творишь то, что тебе вспоминается наутро.

– Как это? – переспросил Андрей, и ему не было стыдно, как это обычно бывало в лицее за повторение вопроса, который учителя называли «дурацким».

– Как тебе объяснить... Ты действительно хотел бы забивать голы, как во сне – девять «девятин»? – Учитель внимательно посмотрел на него. – Ты на самом деле хочешь помочь родителям достроить дом? – Пегий улыбнулся. – Если это не пустые слова, а настоящая мечта, то в этом нет ничего сложного... Нет ничего невозможного, всякая настоящая мечта становится реальностью. Главное – выбрать, то, что ты выбираешь, то и получаешь...

Конечно, он хотел быть великим футболистом, чтобы им гордились все болельщики мира. Конечно, он хотел, чтобы у них был новый, красивый дом. Тогда мама вернётся домой, и ей не нужно будет больше зарабатывать «длинные деньги» на чужбине.

Андрей ничего не смог ответить. Да и что бы он мог ответить... Никогда ещё в его небогатой жизни, ни в школе, ни дома, ни даже в самых крутых фильмах, ему никто не обещал научить, как осуществить мечту. Ему говорили – учись хорошо, будь прилежным, ни дерись, не пачкай одежду и всякие такие правила, которые должны были сделать его примерным взрослым. Но никто толком не объяснял, как связаны хорошая учёба и примерное поведение с тем, чем он хотел заниматься в жизни.

– А вы меня того, не разыгрываете? – нашёлся Андрей. – Может, это просто какая-то игра, в которую вы играете с футболистами старших групп? – спросил раскрасневшийся от неожиданной смелости мальчик.

– Ну, это можно назвать игрой, но нельзя назвать розыгрышем, – ответил Пегий. – Чтобы долго не гадать, давай сразу и начнём. Ты во сколько просыпаешься?

– Отец меня будит в семь...

– А раньше сможешь?

– Смогу, – с уверенностью сказал Андрей.

– Я буду ждать тебя у окна. Не закрывай на ночь форточку, но хорошо укройся, ночи уже холодные...

Андрей долго ворочался в постели и не мог заснуть. Мальчик то включал, то выключал маленький телевизор, который отец разрешал ему смотреть до десяти. Он вдруг испугался, что сквозняк захлопнет форточку, и он не сдержит данное учителю обещание. Андрей включил свет, отыскал в тумбочке кусок проволоки и привязал форточку к отопительной трубе. Потом выключил свет, закутался в теплое одеяло и повернулся набок.

Проснулся он то ли от жужжания мухи, то ли от фыркания какого-то животного. Луна садилась на горе Родна, а назойливая муха билась в окно рядом с форточкой, каждый раз промахиваясь. Кто-то ещё раз просопел в саду, но уже не очень громко, словно боясь испугать мальчика. Андрей встал и засветил экран мобильного. До сигнала подъёма оставалось минут пять. Вдруг окно заслонила большая тень, а потом появилось фыркающее четырёхногое животное. Резвый конь с золотящейся в лунном свете шерстью ткнулся мордой в стекло и шепнул: «Ну что, помчались?» Только сейчас Андрей заметил белую звезду на лбу сильного зверя: «Пегий!» Он открыл окно и обнял коня за загривок. «Ты приготовил то, о чём мы договаривались?» Андрей быстро полез под кровать, достал школьный рюкзак и шагнул в ночь.

Они проехали мост через речку и пошли дорогой в гору, к монастырю. «Я попробую тебе рассказать о том, что такое мечта и о ее пути от рождения до осуществления». Андрей прильнул к гриве лошади. «Слушай и не оглядывайся по сторонам, ничего не бойся, просто иди к цели. Сегодня наша цель – монастырский родник».

Распятие показалось мальчику всадником с занесённым над головой мечом. Шорох в кукурузном поле сжал его сердце, а трансформатор у края села глянул на него сердитым взглядом киборга. Каждый раз при мнимой опасности Андрей зарывался головой в гриву и прижимался к теплу лошади. «Самый опасный враг – это твой ум, – сказал учитель. – Это он бог весть что выдумывает, ищет сравнения и находит ложные решения. Доверься сердцу, а голова пусть отдыхает».

– Слезай!

Они уже были у родника, в пятидесяти шагах от стены монастыря. Светало, и бледно-серое небо над горой стало наполняться еле уловимыми красками. К сочившейся влаге вели три каменные ступени, а над ними возвышался деревянный шалаш с черепичной крышей.

– Возьми флягу для воды, а я сейчас...

На правом, промокшем от пота боку лошади Андрей нашёл в кожаной сумке пятилитровую бутылку в камышовом переплёте. Пегий зашагал к монастырской калитке.

Андрей подставил флягу под нержавеющую трубу, которая выходила из обложенных плиткой горных стен. Вода лилась медленно, и мальчик успел спросить себя, почему эта бутылка в переплёте и почему Пегому понадобилось в монастырь.

– Это вы? – удивился Андрей неожиданному превращению Пегого. Учитель держал в руке горстку свечного воска.

– Для чего это?

– В церкви сейчас тихо. Даже святые спят. Именно в это время из родника идёт живая вода. Ты набрал?

Они сели неподалеку от родника, на траву, под самой горой. Земля была холодной. Над Родной заималась заря. Пегий предложил мальчику попробовать первым живой воды. С некоторым волнением Андрей сделал несколько глотков. Прохладная жидкость была приятной на вкус и слегка пощипывала язык. Потом флягу взял учитель. Он пил долго, затем налил воды в ладонь и смыл усталость с лица. «Подождём, – сказал учитель, – это же живая вода...» Иногда, по праздникам, отец подносил Андрею рюмочку красного домашнего вина, и он выпивал её с осторожностью, так как в школе строго запрещали делать это. Но отец повторял мудрость деда, что в меру всё впрок. Андрей почувствовал вдруг ту же мутную теплоту, которая исходила всякий раз от задетого вином желудка и медленно распространялась по всему телу.

Они легли на землю и увидели огромное небо.

– У тебя есть айфон? – спросил Пегий.

– Был... – ответил Андрей.

– Сейчас мы постараемся приблизить небо.

Небо стало близким, на расстоянии протянутой руки. Учитель ткнул пальцем в небо, и на экране появилась картинка Пегого и Андрея, лежащих на траве возле монастырского родника, у подножья горы Родна.

– Это работает как зеркало? – спросил мальчик.

– Вроде того. В этом зеркале можно увидеть всё и даже то, ради чего мы пришли сюда.

На экране высветилась живая картинка с Андреем в форме футболиста на зелёной лужайке. Учитель полистал пальцем, и на экране появилось чёрно-белое изображение повзрослевшего Андрея.

– Полистай, помечтай! – сказал учитель.

Андрей поймал изображение их строящегося дома. Потом полистал и увидел уже их новый дом и родителей у порога. Стал листать обратно и увидел картинку двухгодичной давности: они с мамой гуляют в зоопарке, у неё в руках букет полевых цветов, а у него – шоколадное эскимо. Потом стал листать вперёд и опять увидел себя, совсем взрослым, на каком-то футбольном поле.

– Ну как, понял? – спросил учитель.

– Назад картинки в цвете, вперёд – чёрно-белые...

– Назад – это прошлое, то, что ты уже видел и знаешь. Будущее – это в большей части неизвестное. Но там, за небом, за зеркалом, по ту сторону нашего мира находится то, что было, есть и будет. Всё, что может случиться с каждым. Все твои варианты жизни и всё, что тебе нужно.

– А почему они чёрно-белые?

– Потому что они не прожиты тобой. Но стоит тебе выбрать дорогу в жизни, и ты можешь своим стремлением добиться нужного цвета, привнести его в реальность, в нашу действительность. Это как старые киноплёнки, пока их не просветят и не придадут движение, они просто будут пылиться в коробках.

– Выходит, наша непрожитая жизнь – это варианты чёрно-белых фильмов и мы можем выбрать один из них?

– Да, но это ещё не всё. Нужно вдохнуть в этот вариант жизнь, энергию красок, одним словом, необходимо прожить то, что выбрал.

– Как это?

Учитель призадумался.

– У нас не так много времени, – сказал он. – Давай к главному!

Андрей опять стал листать вперёд. Через несколько страниц он нашёл наконец то, что искал. Повзрослевший мальчик, очень похожий на него, забивал раз за разом девятки прыгучему как кошка вратарю.

– Это и есть твоя мечта? – учитель посмотрел на него с легким укором.

Через несколько страниц Андрей нашёл себя на большом стадионе, похожим на Ноу-Камп или Уэмбли. Вот он разбегается и бьёт в верхний левый от вратаря угол. Гол! Стотысячный стадион вскакивает. «У-а-а-а!» Гул и овации поднимаются к небу, шум разносится волнами далёко за высокие стены стального сооружения и доходит до ушей мальчика: «У-а-а-а!» И вдруг картинка начинает наполняться сочными красками, газон становится зелёным-зелёным, а в нём выделяются по отдельности, как еловые иголки, сине-зеленые травинки.

– Ты видишь, учитель, ты слышишь? – спросил в восторге Андрей. Пегий широко улыбнулся.

– А сейчас посмотри сюда, – сказал учитель и достал приготовленный воск. Как опытный маляр, он резкими и точными движениями замазал всё небо.

– Зачем вы это сделали?

Андрей с ужасом смотрел на запачканный экран, с которого медленно стекал, как варенье, жёлтый воск.

– Теперь попробуй снова увидеть картинку.

– Как?

– Не воображением и не умом... Попробуй увидеть картинку сердцем!

Андрей пытался сообразить, что ему дальше делать.

– Ладно, брось... Воск ещё долго будет сходить...

Солнце уже стояло над горой, а они сидели в тени шалаша, по обе стороны блестящей родниковой трубы. Лицо Пегого стало сосредоточенным, но Андрею показалось, что учитель огорчен тем, что ученик из него – ну просто никакой... Он подставил горлышко фляги под струю воды...

– А сейчас тоже живая течёт? – спросил он тихо, как бы извиняясь.

– Нет, это бывает очень и очень редко... Да тебе больше и не нужно, ты уже всё увидел.

– Но я же не смог сделать это... Увидеть мечту сердцем...

Учитель улыбнулся. У тебя всё получилось. Ты уже нашёл свою мечту. А видеть сердцем и душой мы только будем учиться...

Андрей подумал, как задать главный для него вопрос...

– А как попасть туда? Или как спустить картинку на землю и сделать её настоящей?

– Ты хотел спросить, как добиться мечты... – Учитель вымыл руки. – Какие песни ты любишь больше всего? Я хочу спросить, какое радио ты слушаешь чаще, когда идешь на тренировку или домой с наушниками в ушах? – Не ожидая ответа на свой лукавый вопрос, Пегий переспросил:

– Когда ты теряешь свою любимую радиоволну, как поступаешь?

– Беру телефон и настраиваю...

– Так вот, каждое утро настраивай своё сердце, свою душу на картинку своей мечты, как на любимую радиоволну, и пой вместе с ней свою песню, песню жизни!

– И она придёт ко мне, моя мечта?

– Не сразу! Между тобой и нею много, очень много не растаявшего воска, да что воска, тонны смолы...

– И как к ней подобраться? Кто знает дорогу?

– Дорог много, но никто их не знает. Да и не надо.

– ?

– Главное – иметь ясную картинку в уме и ежедневно настраивать душу на её волну, а мечта потихоньку будет указывать тебе дорожку, но не всю, а частями... Видишь эти ступени, ведущие вверх? Это часть дороги. Сегодня мечта укажет тебе три ступеньки, завтра ещё три, а через некоторое время и все пять, а то и десять.

– Так сколько же придётся ждать? – с грустью спросил мальчик.

– Неизвестно. Но если набраться терпения и смело идти к цели, то её можно достичь...

Они взглянули на подножье горы, где брал начало и поднимался вверх молодой лес. Домой шли молча.

– А при чем тут бутылка? – спросил Андрей, чтобы как-то завязать разговор.

– А как ты думаешь настраиваться каждый день? Вот тебе ежедневное упражнение. Утром, в полной тишине, по дороге к роднику и домой тебе никто не будет мешать.

– А переплёт? – хмуро спросил Андрей, словно не услышав ответ Пегого.

– А как же зимой? Дорога будет трудной, можешь поскользнуться и нечаянно разбить бутылку.

Андрей остановился. Он никак не мог предположить, что планы учителя могут идти так далёко, до зимы... Он даже вообразил себя в тёплой куртке и сапогах, шагающим тёмной, скользкой дорогой к Монастырю.

– А почему мы не выбрали картинку нашего нового построенного дома? – выпалил Андрей.

Пегий встал как вкопанный.

– Цель должна быть одна, – сказал учитель. – В большой цели скрыто всё, что надо человеку... И новый дом тоже.

– А почему бы нам не найти картинку с большой кучей денег? – Андрей хитро посмотрел на учителя.

– И одним махом решить все проблемы! – Он вспомнил споры с товарищами по команде о том, сколько зарабатывают футбольные звёзды.

– А нет таких картинок за небесным зеркалом. Нет мечты с горами денег. Мечта – это любовь, красота, душевный покой. А деньги...

– А как без денег?

– Без денежных знаков нельзя... К цели ты идёшь посредством дороги. Значит, сам путь – средство. Другой инструмент или, как это проще сказать, оружие в трудной дороге, это труд, терпение, сосредоточенность. А деньги даже не инструмент, это так, атрибут... Они появляются по дороге к цели, потому что они везде. Так вот потому, что они везде, то одной банкнотой, то пачками, то горами, нельзя на них распылать своё внимание... Нет, принимать деньги надо с благодарностью. Но и расставаться с ними нужно без сожаления. Потому что иногда они как вспышки вдоль дороги, то справа, то слева, то позади... Без них нельзя, но не это главное.

Они расстались у моста. Андрей посмотрел в сторону дома и спросил:

– А если не получится?

– Что не получится?

– Ну если долго идти к цели, а потом бац!!! Не вышло... Не получилось!

Учитель задумался.

– Осечка может быть в любом деле. Нужно с этим смириться. Но если у тебя нет другой цели, то нужно забыть об осечке и идти дальше. Просто двигать ножками. Если всё-таки это чужая цель, то ты скоро об этом узнаешь. Ступеньки закончатся.

– Ясно! – весело ответил Андрей. – Яснее быть не может, – добавил он и резким движением плеч поправил рюкзак.

Дома его встретил отец. Была суббота.

– Мы сегодня будем говорить с мамой по скайпу! Я вчера заплатил за Интернет. Что там у тебя? Родниковая вода? Налей-ка и папе кружку!

2

В утренней полудремоте он старался уловить невесомые куски золотой лестницы. Они были разные по величине: с тремя, пятью и десятью ступенями, но как Андрей ни старался соединить их в уме в один сплошной ряд, они не поддавались. Части лестницы разбегались друг от друга, становились поперек или вовсе исчезали. «Как же можно добиться цели, не зная всей дороги?» – спрашивал себя мальчик. «Нужно встать!» – приказал себе Андрей, но тут же понял, что проспал.

– Это ты там шумишь, сынок?! Умойся и иди завтракать! – сказал отец.

Над горой Родна поднималось солнце. За окном, по запыленной дороге, шли грустные коровы.

Под вечер он получил от Пегого эсэмэску: «Попробуй ещё раз!»

«Ничто не сможет остановить меня завтра утром добраться до родника!» – твердо решил мальчик. Утром он выскочил из дома и опомнился только за мостом, когда жуткий вой пронёсся через село, а вслед залаяли собаки ближних и дальних дворов. Андрей почувствовал, как холодеют руки. Он затянул потуже ремни рюкзака и зашагал дальше навстречу темноте. Луна скрылась за тяжелыми тучами. Еле видимая серая полоса дороги терялась в двух шагах, и он то и дело спотыкался. Мальчик молился на зарю, но небо не допускало даже намёка на рассвет. Иногда тихий ветер поднимал невнятные шорохи, и мальчику казалось, что его вот-вот кто-то догонит.

Наконец он вышел на прямую дорогу к монастырю и увидел вдали мерцающие огни. «Там вблизи огней, – подумал он, – журчит родник». Следуя напутствию учителя, Андрей сосредоточился на картинке-мечте. Он вообразил огромный стадион и попытался увидеть себя в игре, как вдруг услышал какой-то шорох. Он перекрестился, как научила его мать, но как только сошёл с места, за ним тут же кто-то последовал. Он вспомнил советы Пегого и прошёл шагов пятьдесят, не оглядываясь, пытаясь отключить ум, но кто-то упорно его преследовал. Андрей обернулся. В двух шагах от него блестили большие глаза

соседской собаки, которой он боялся больше всего на свете. «Прочь!» – прошипел он, но чёрная овчарка злобно оскалилась.

Андрей проделал шагов десять и остановился. Оскал собаки становился всё страшнее, и она подходила всё ближе и была уже в два раза больше. Мальчик отпрыгнул в сторону, а собака прижала уши, готовясь к решающему прыжку. «А-а-а!» – заорал Андрей и побежал к дому. Грозно рыча и передвигаясь большими прыжками, собака принялась его догонять. Когда мальчик вдруг представил, как большие огромные зубы чудовища впиваются в его затылок, рядом с ним появилось другое животное, которое тоже мчалось изо всех сил в долину. Краем глаза Андрей заметил золотистую шерсть.

Собака исчезла. Только теперь Андрей заметил, что из-за облаков появилась луна. Он подошёл к Пегому, обнял его за шею и прильнул к гриве:

- Ты тоже испугался?
- Нет, я просто бежал рядом...
- Чего ж ты так скакал?
- Тебя догонял...
- Ты не испугался собаки?
- Я не видел никакой собаки...

Андрей присел на траву. Пегий тихо сопел над ним, словно стараясь погладить мордой мокрые волосы мальчика.

- Ты же сказал, что больше не пойдёшь со мной по воду?!
- Андрей встал. Он потерял во время погони рюкзак. Светало.

- Фляга не разбилась?
- Нет, – сказал Андрей, потупив взгляд.
- Ничего... Бояться – не стыдно. Нужно научиться преодолевать страх.

Мальчик не ответил. Его мысли метнулись несколько раз от монастыря к дому и обратно. Наконец он повернулся лицом к горе и пошёл. Пегий двинулся за ним.

- Ты со мной? – спросил он с удивлением.
- Я буду рядом.

Набрав воды, Андрей увидел возле ворот обители тренера. Он был в шортах и безрукавке. На причёсанной чёрной пряди выделялась проседь.

- Что это было, учитель?
- Всякое начало трудное. Очень трудное... В чём это выражается, как тебе кажется? В сомнениях. То ли я выбрал? Так ли я начал? А к чему это приведёт? А если я ошибусь? А если осечка? И пошло... – учитель продолжил, улыбаясь: – Ты принял решение, своё, продуманное решение... Ты выбрал свою мечту и свой истинный путь. Верно?..
- Мне кажется, да... А от чего происходят сомнения?

– Я думаю, от очень большого желания... Ты сильно хочешь добиться цели, но тебе неизвестно, какое до нее расстояние... Ты упорно этого хочешь, и вот, приходит время, когда ты с ужасом спрашиваешь себя: если я так долго стремился к этому, если я так упорно желал, почему оно всё время отодвигается... Значит, я что-то не рассчитал, значит, что-то не так, значит, я неверно выбрал, значит, недостойн и так далее... Пошло-поехало. Сомнения могут съесть человека вместе с его мечтой.

- А от чего рождается страх?
- От слепой веры. Человек убеждает себя, что выбрал мечту правильно, и верит, что цель будет достигнута! А время идёт, цели не видать, но человек упорствует. Его вера становится всё больше. Он ничего и ничего не хочет слушать, он остаётся со своей святой верой, которая питает его надежду. Надежду, что он добьётся своей мечты. А мечта, увы, не приближается... И тогда вера рушится или уходит, как вода в песок. И остаётся страх перед неизвестностью. Не нужно верить в мечту... Надо знать, что мечта исполнится... Надо хотеть, не желая.

- Я не совсем понял твои последние слова, учитель.
- А сразу и не понять... Просто запомни...

Потом Пегий научил его защищаться от опасностей в дороге. Каждое утро у моста, перед тем как отправиться в дорогу, он закутывал мальчика в энергетическую оболочку, похожую на яйцо. Оболочка была прозрачной и очень походила на мыльный пузырь, невидимый для Андрея. В этом светящемся яйце можно было идти без страха, точно воин в крепких доспехах или мультяшный человечек в своём кружочке-субмарине против грозных морских чудовищ.

– Постарайся выполнить ещё одно упражнение, – говорил ему учитель. – Каждый раз, когда поднимаешься в гору и спускаешься, попробуй взглянуть на себя со стороны... Подними душу выше себя хотя бы

на высоту Родны и понаблюдай за собой. Словно ты читаешь стихи на школьной сцене и одновременно слушаешь их из зала.

– Это для того, чтобы проследить, всё ли я правильно делаю?

– Для того, чтобы ты осознал себя. Жизнь, как и футбол, – игра. Тренер расставляет на доске магнитные кружочки, а ты в одном из них. Тренер двигает тебя по воображаемому полю, и ты словно следишь за собой, ты двигаешься согласно тактической схеме, вступаешь в единоборство, замыкаешь передачу и забиваешь гол. Кружочек – это ты и не ты. Это твоё осознанное я. Но в жизни ты игрок и тренер одновременно. Кружочек будет метаться, беспокоиться, любить, ненавидеть, ввязываться в бой, отдыхать, а ты будешь просто жить, следить, чтобы эмоции не слишком захлёстывали его, чтобы он вышел из передраг невредим, а главное, чтобы он не очень отступал от избранного пути. От выбранной мечты.

– Почему вы улыбаетесь, тренер?

– Потому что ты киваешь головой и во всем соглашаешься, а я не могу понять, всё ли тебе ясно?!

– Ясно, тренер.

Но лихо отвечать на вопросы, преданно глядеть в глаза учителю ещё не означает до конца усвоить урок.

Как-то в начале октября, когда ветер доносил с холмов запах изабеллы, Пегому позвонили из администрации футбольной школы. Его попросили разобраться в инциденте, в котором был замешан его подопечный.

Андрей ждал на трибуне школьного стадиона. Мальчик был смущён, но держался бодро. Он сам ещё не мог оценить произошедшее. Пегий попросил рассказать, что случилось. Оказывается, во время тренировки один из новобранцев больно ударил Андрея сзади по ногам. Нечаянно или нет – вопрос спорный. Игра есть игра, а в игре, как на войне, бывает всякое. Тренер команды предложил им пожать друг другу руки, как это принято между настоящими спортсменами, но Андрей посчитал, что новичок слишком грубо обошёлся с ним и затеял драку. Чувствуя поддержку товарищей, он обозвал новичка дураком и ударил его по лицу. Согласно правилам школы, тренер немедленно удалил его с тренировки. Пегий внимательно выслушал мальчика.

– Он сам виноват. Он не понимает игры...

– Стало быть, ты всё понимаешь...

– Да уж побольше него... Поймите, господин тренер, я не специально... Так вышло... Мы оба понервничали...

– Меня больше волнует не пощёчина... Был бы он посильнее, наверно, в долгу не остался... Меня другое беспокоит, почему ты считаешь его глупее себя?

Андрей не нашёл, что ответить.

– Или умнее?

Андрей отвернулся.

– Дело не в том, что он слабее или глупее тебя, хотя неизвестно, как на самом деле. Новобранец у нас всего две недели. Его родители давно уехали за границу, на заработки, и мы о них ничего не знаем. Живёт он с бабушкой. Бутсы купила ему школа, иначе ему не было бы в чём тренироваться. Но главное не в этом.

Андрей внимательно посмотрел на учителя.

– Люди делятся на умных и не очень, на сильных и слабых. Признать это – нормально. Но когда ты считаешь другого глупее или слабее, то в силу вступают другие законы.

– Какие? – он снова почувствовал себя учеником.

– Назовём это законом важности. Люди такие, какие они есть... Какими они были задуманы и сотворены... не нами. Но у того, кто чувствует себя выше других, вырастают невидимые крылья. Только ты возвысил себя, эти крылья распускаются, и тут же сильные ветры уносят тебя далеко от твоего пути. Природа и жизнь любят равновесие. Ёжик не умеет петь трелью, но и жаворонок не сможет унести на спине кило яблок. Что бы случилось, если ёжику захотелось бы вдруг запеть жаворонком? Наверное, он бы дорого заплатил за свою заносчивость. Он заплатил бы такую же цену за нелепое желание принизить свой природный статус и стать слепым кротом.

– Иногда человеку приходят на ум такие глупости, – заключил задумчиво Андрей.

– Поэтому нужно быть самим собой... И дать возможность другому быть самим собой. Когда ты не обременён важностью, когда голова не отуманена нестерпимым желанием, ты свободно идёшь к мечте.

– Да... – выдохнул Андрей... Его мысли унеслись далеко, и на миг он увидел себя посреди огромного зелёного поля, залитого светом прожекторов. Мечта мгновенно улетучилась, когда он вспомнил грустные глаза униженного товарища.

С этого дня у мальчика многое стало получаться. По крайней мере, так ему казалось. Он просыпался в одно и то же время и быстро собирался в путь. Дорога до ворот монастыря казалась ему всё короче, и он легко распознавал возникающие в темноте неожиданности. На тренировках удавалось иногда забить уже четыре девятки из девяти. Его настроение было подогрето и известием, что мама вот-вот должна приехать в короткий отпуск. Она прислала домой немного денег, и отец опять стал пропадать в поисках строителей. В своих размышлениях перед сном, рядом с живой картинкой его мечты всё чаще и чаще всплывал любимый образ мамы. Засыпая, он чувствовал, как её тёплые, мягкие пальцы опускаются с макушки до бровей и веснушек.

Но накануне её приезда Андрей нашёл на чате грустное сообщение: «Дорогой мой, мне очень жаль, но я не смогу приехать... Передай это папе...» Мальчик хотел было написать «почему?», но понял, что напрасно. Мама скорее всего была на работе. Отец принял плохую новость слишком спокойно, как показалось мальчику, и его ресницы задрожали, путаясь в наворачнувшихся слезах. «Наверное, ее старику стало совсем плохо, – сказал отец, отворачиваясь к разогретой плите. – Как она может его бросить?» В далёком городе, где люди, как говорилось, жили благополучно, всё было устроено намного хуже, чем дома. Каждому чужестранцу доставалось по пожилому, больному человеку. За этими хворыми старикашками надлежало ухаживать днём и ночью, жалеть их больше, чем своих детей, иначе они не платили денег. Однако не всякому чужестранцу хватало по дедули. Вот почему мамин дедок был такой дорогой. Она должна была готовить ему еду, давать вовремя лекарства, ставить уколы, стирать и прибираться. В компьютере Андрей хранил присланную полгода назад фотографию: мама, усталая, но улыбающаяся, и старый хрыч в навороченной инвалидной коляске с блестящими рычажками. На его белом, как одиннадцатиметровая точка, лице читалась насмешка.

Пегий не успел встретить Андрея у моста. Он нагнал его на полдороге к роднику.

– Андрей! – кричал ему учитель, но мальчик шел в гору не оборачиваясь. – Андрей! – Пегий остановил его. – Что случилось?

Мальчик отвернулся, едва сдерживая слезы.

– Мама не придет! – мальчик помчался обратно, в долину, как той ночью, когда убегал от собаки. Пегий застал его дома напротив ворот и опять попытался заговорить с ним.

– Не трогайте меня! – закричал мальчик и разрыдался.

Он уже не прятал лицо, не стыдился слёз, а откровенно рыдал, как это делают люди, грубо столкнувшиеся с судьбой. На пороге появился отец. Мальчик утер рукавом глаза и прошмыгнул в дом. Он бросил рюкзак под кровать и сел у окна. За дверью был слышен ропот разговора отца с учителем. На подоконнике лежала муха, так и не сумевшая попасть в настёжку открытую форточку. На миг Андрею показалось, что эта мертвая муха – он сам.

3

Прошло около года. Снова близилась осень. Пегий уехал на родину больших цветов, в долину ацтеков. Первое время они чатились, а потом появилась необходимость собираться мыслями и ясно их выражать в электронной переписке.

«Заведи себе «идиотскую» привычку радоваться поражениям», – писал учитель. Андрей уже знал, что небесное зеркало улавливает любое настроение, переплавляет его и расстилает между настоящим днём и временем исполнения мечты. Если ты ожидаешь в печали следующие ступени пути, то жди, что через неделю-другую это состояние превратится в тягостные дни и ты будешь влачить по футбольному полю тяжелые ноги. И как же радоваться проигрышу, когда противники после игры скачут по полю и машут над головой майками, словно знаменем победы?

Между далёкой мечтой и реальностью лежит толстый слой времени. Живая картинка осуществимого будущего посылала раз за разом Андрею радостные сигналы, спуская на землю очередные куски намеченного пути. Но было не просто переплавить бесчисленные глыбы воска и смолы, томящиеся в пустоте времени, так, чтобы реальность приняла очертания мечты и задышала настоящей жизнью, стала праздником души.

Мальчик перепроверял усвоенные уроки, как когда-то отец обследовал движок и механизмы автомобиля, который они были вынуждены обменять на заграничную визу для мамы. Красный магнитный кружочек Андрея юрко скользил по полю жизни от дома к лицу и от лица на тренировку. Но по дороге к роднику Андрей водил его с осторожностью, шаг за шагом выполняя упражнения Пегого. Он вдыхал свежесть утра с запахом спелых придорожных трав и надевал светящуюся, прозрачную оболочку. Затем быстро устремлялся в гору, туда, где на полпути от родника он налаживал связь с будущим. Содержимое энергетической оболочки начинало дрожать и настраиваться на частоту колебания ожидаемой картинки. Казалось, протяни руку, и можно было дотронуться до высокого никелированного столба, на котором

висел громадный стадионный прожектор. Ветер будущего одурманивал запахом свежескошенной травы безупречного газона. «У-а-а-а!» – восторженно взрывался стадион, и склоны горы Родна в точности повторяли эхо: «У-а-а-а!». «Если ты хорошо настроишься и будешь чувствовать свой праздник близко, то он и окажется рядышком... Время уступит мечте», – писал ему Пегий.

Пришёл тот день, когда он забил пять девяток из девяти. И хотя случилось это после тренировки, в кругу товарищей, вся школа, а потом и родители узнали об этом. Андрей ошибся только на первом, последнем, пятом и шестом ударах. После каждого пенальти вратари менялись, но всё равно рекорд пал. Мячи летели мягко, но точно, то в левый, то в правый верхний угол ворот. Пять попаданий! Этого не удавалось никому из школы. Конечно, официально никто его не поздравил, но от этого событие не потеряло своей значимости. Ребята из первой команды здоровались с ним за руку. Весть облетела лицей и село. Отец, который мало что смыслил в футболе, пытался передать маме по телефону суть случившегося: «Наш мальчик переменялся...»

Хотя Андрей играл теперь за основной состав, жизнь в целом не изменилась. О его рекорде стали забывать. Очевидно, речь пока шла не о мастерстве, а, скорее, о случайной удаче. Не прошло и двух недель, как это событие напрочь рассосалось в жизненной обыденности, хотя взрослые игроки по-прежнему кивали ему при встрече. Потом наступила такая тишина и такое молчание, что казалось, время остановилось. Тренер почти перестал его замечать. Отец всё больше задерживался на работе и уходил чуть свет. У матери вышел из строя компьютер. Даже Пегий давно ему не писал. Он уехал на месяц странствовать по долине ацтеков или толтеков: «Пришла пора, – отметил он в своём последнем послании, – новых познаний...»

Бывали дни, когда он отказывался от энергетических упражнений и чувствовал, как за ним плетется разряженная оболочка, словно грязная дождевая накидка. Родниковой воды набралось столько, что отец был вынужден раздавать её соседям. Когда воду уже не было куда девать, Андрей перестал подниматься по утрам к роднику, словно утратив смысл своих хождений. Он перестал даже ходить в школу на тренировки. Так прошло две-три недели. Он написал учителю: «Произошла осечка...»

В разгаре воскресного дня, когда октябрьский ветер гладил кудрявую шерсть виноградника, разнося по селу запахи изабеллы, Андрей решил выйти из дома. За мостом он не стал заворачивать к монастырской дороге, а пошёл прямо к подножию Родны, через низкие кустарники и высокую высохшую траву полыни. Узкая колея мимо рыжего неубранного кукурузного поля привела его к знакомой стезе, что вела к вершине горы. Заросшая тропинка пропадала в темноте колючей акации. Андрей решил, по привычке, надеть прозрачную энергетическую мантию. Пока святящееся яйцо набирало мощь, Андрей купался в потоках небесной и земной энергии, стараясь продлить забытое удовольствие.

Он долго добирался к вершине. Обрамляющие горную плешь кусты терновника и шиповника хранили многочисленные сухие плоды прошлого года. Селян, возвращающихся иногда из дальних благополучных стран, уже не тянуло в эти места. Последние крохи сил они оставляли на чужбине. Андрей сорвал тёмно-синюю ягоду, и резкий, терпкий вкус скрутил ему губы. Он взглянул вниз на громоздящиеся в долине дома, и село открылось ему новым лицом. То ли белесый облачный след от ветхого Дома культуры до скучающего от безделья винзавода, то ли повзрослевшие глаза мальчика, то ли что-то другое придавали селу новизну и свежесть. С высоты птичьего полёта, куда порой должна была подняться его душа, он увидел ежедневный путь, который проделывал в жару и в холод по пыльной или размокшей от дождей и снега дороге. Всё казалось игрушечным: и длинная дорога, и родниковый шалаш, и даже купола монастыря, поэтому ежедневные страдания, опасности и победы показались ему менее острыми и важными. Всё напоминало игру. Игру в жизнь.

Вдруг ближайший куст зашевелился, и из рощи появился тот самый парень, с которым мальчик повздорил год назад на тренировке. Они давно не вспоминали былое. Благодаря тесному житию в команде ребята стали хорошими друзьями. Старались друг другу помогать, а на футбольном поле – страховать и взаимодействовать. Вот и теперь, переборов волнение неожиданной встречи, они пожали друг другу руки. Коровий глаз, так называли мальчика из-за больших, тёмных глазниц, искал Андрея по поручению тренера. Тренер передавал ему привет и советовал скорее вернуться к тренировкам. Предстояли ответственные матчи. Да и форму нельзя было терять.

– Отсюда все по-другому, – кивнул Андрей в сторону налитой до краев солнцем долины.

Коровий глаз кивнул. Он протянул горстку ягод другу, но тот вежливо отказался, вглядываясь в горизонт:

– У тебя есть мечта?

– Конечно, – ответил «Коровий глаз».

– Какая? – спросил Андрей и тут же вспомнил, что мечта – это тайна.

– Компьютер, – бросил друг.

– Что? – не понял Андрей...

– Компьютер хочу! Давно...

– И как?

– Да вот предки найдутся и купят.

– Когда найдутся?

– Как сказать... Думаю, есть они... Прячутся от полиции, пока документами не обзаведутся. Да и долги у них тут большие. Заняли на визу и дорогу. Поэтому им, наверное, выгоднее считаться пропавшими...

– Ты веришь в то, что говоришь?

Коровий глаз замолчал. В такие моменты Андрею казалось, что друг его действительно дурак, но он тут же начинал корить себя.

– Бабушка так считает, – продолжил собеседник.

– И что, пока терпится с компьютером? – Андрей вернулся к прежнему разговору.

– А что с ним делается?! Дождается меня в каком-то супермаркете, пока предки денег не заработают.

– И тебе что, по барабану? Тебе же хочется по вечерам чатиться, играть в игры, слушать клёвую музыку...

– Что-то я тебя не понимаю, Андрей... Свой комп хочешь мне подарить, что ли? – Нет, я не ловлю тебя на слове...

– Да я могу подарить... если мама сдержит слово и привезёт мне лэптоп...

– Нет, я другое хотел сказать... Я такую игру завёл... Если хочу что-то, а этого нет, но мне нестерпимо... то сразу стараюсь забыть, но так, задней мыслью, думаю, что оно обязательно подвернётся, никуда оно от меня не денется...

– И что, часто выигрываешь?

– Нет, чаще не нужно!

Они расхохотались. Андрей подумал, что его друг обзавёлся неплохой игрой, притом без учителей.

– Эх, – сказал Андрей, – жалко, что я флягу не взял, спустились бы сейчас к роднику...

– Это вы ошибаетесь, «мастер пенальти», – хитро подмигнул Коровий глаз, – рюкзачок-то ваш при мне! – и он указал в сторону кустов.

– Это как?

– Да я говорил с твоим отцом... Откуда б я знал, где ты?! Он всучил мне флягу с рюкзаком, говорит, давно родниковой воды не пробовал.

Они бросились в терновник. Радость, как и беда, не приходит одна. За ожидаемой вестью, что мама вот-вот приедет, Андрей получил письмо от учителя. А на втором этаже нового дома уже неделю как работали строители.

На этот раз не было никакого сомнения, что мама приедет. Она известила, что уволилась с прежней работы, потому что родственники богатого старика решили отдать его в приют. Андрей вообразил, как с покрытого белой краской лица дедули медленно сходит стариковская улыбка. До поступления на новую работу оставался месяц, и мать сможет провести его дома. «Было бы здорово, – подумал мальчик, – если в их селе тоже водились больные, но богатые старики и мать смогла бы за ними ухаживать». Но все знакомые пожилые люди довольствовались, как правило, скудным достатком, ходили на своих ногах и жаловались на здоровье только в своём, узком кругу. За теми немногими, которых болезнь валила с ног, присматривали их близкие. Взрослые о них говорили с жалостью и неохотой.

Хотя до возвращения матери оставалась неделя, Андрей живо представлял эту встречу. Вот они в зале ожидания аэропорта, недалеко от таможенного сканера. Появляется улыбающаяся мать, и отец, волнуясь, выхватывает из её рук тяжёлый чемодан. Целуя на ходу папу, она подходит к нему и не может наглядеться. «Боже мой, как ты вырос!» Она прижимает его к сердцу и не верит, что уже не нужно наклоняться, чтобы обнять сына. Она целует его, сначала в одну щеку и отводит от него глаза, потом – в другую. Она любит его. Она не отпускает его. И странно, Андрея совсем покинуло чувство смущения. Или, может быть, это чувство покинуло его только сейчас, в воображаемой картинке встречи. Продолжая мечтать, Андрей видит, как они вместе с мамой и отцом возвращаются домой на такси. Отец на переднем сиденье указывает шофёру дорогу, а они с матерью переглядываются и улыбаются. В мамином кулачке зажат букет полевых цветов, собранных мальчиком возле монастыря. Мамины длинные пальцы скользят по его макушке вниз. Всё, что должно случиться через неделю, проходит перед его глазами в живых красках. Андрей ясно увидел в мочках её ушей новые золотые серьги с бирюзой, о которых он раньше слышал из разговора родителей.

«Как я уже говорил тебе однажды, у большой мечты должен всё-таки быть запасной выход. Тогда горечь поражения не будет такой острой. Но ты не можешь сейчас знать всего. Забудь о возможной осечке»

ке и переключись на будущее», – писал ему Пегий. Былая травма опять дала о себе знать. Знаменитый южноамериканский клуб предложил ему работу тренера, таким образом, он мог заниматься и дальше любимым делом. «Конечно, это не совсем то, что чувствуешь на поле, когда ты захвачен без остатка игрой, – писал учитель. – Не тот полёт мысли, не тот восторг от удачного паса или красивого гола. Но это выход, достойный выход, потому что человек не Бог и быть близко к Богу ему редко удастся».

До того как отдельные ступени длинной лестницы спускались с неба и складывались в путь, к Андрею приходили невероятные мысли, которых он не мог прочесть в своих книжках или услышать в повседневных разговорах. Пегий называл их главами «Книги неба», в которой было записано всё о прошлом, настоящем и будущем. Эти знания можно было прощупать только интуицией. Перед сном или ранним утром мальчик записывал эти откровения в специальный файл своего компьютера. Перечитывая, он сокращал некоторые из них до нескольких слов и забивал в память мобильного в виде напоминаний. В течение дня телефон несколько раз заливался мелодией, а на его экране высвечивались очередные слова нового напутствия: «В мире нет отрицательных событий...» Переживания последних дней, преумноженные на уроки учителя, всё больше укрепляли его в мысли о продолжении выбранной жизненной тропы. «Стряхивай сомнение, как репейник с одежды, или пережди его, как противный зуд», – говорил он себе, поднимаясь по утрам к роднику. «Не бойся преград, Андрей!» – и ему мгновенно телеграфировали с последней станции мечты: «Не бойся жизни, Андрей, не бойся жить!»

Пришёл день, когда он понял, что до цели осталось несколько ступенек. Было такое впечатление, что он бродит вокруг мечты, как путник, не различающий в сумерках очертаний старого замка. Мечта действительно стала теперь похожа на замок. Он как будто был наброшен на бумагу легкими штрихами серебряного карандаша. Но Андрей знал, что нарисованные двери на самом деле открываются, но только необходимо найти ту самую, единственную. Чем ближе была разгадка, тем чётче был виден замок. «Только не нужно торопиться, – взбадривал себя мальчик, – дверь совсем рядом». Он вообразил, как ему открывается вид изумрудного, залитого светом газона и переполненных трибун. Он пробует золотой бутсой мягкую траву, и за ним выбегают на поле, словно невесомые, его товарищи по команде! «У-а-а-а!» – взрывается стадион. «У-а-а-а!» – отвечает эхом мечта Андрея и лестница его пути.

Он коснулся мечты умом и сердцем. Она была близка и неизбежна, как улыбка матери, как тёплое поглаживание её мягкой ладони. Жить в потоке нескончаемой радости ожидаемого, казалось, можно вечно, потому что праздник души и само ожидание праздника были уже неотличимы. Небесное превращение человеческой мысли начиналось тут же, у берегов земного рая.



Михаил ПОПОВ



Родился 25 февраля 1957 года в г. Харькове. Окончил сельскохозяйственный техникум, а затем Литературный институт им. А.М. Горького. Автор двух сборников стихотворений и двадцати книг прозы. Лауреат литературных премий им. И. Бунина, им. А. Платонова, им. В. Шукшина, премии Правительства Москвы. Председатель Совета по прозе при Союзе писателей России. Проживает в Москве.

Идея

Повесть

Мне пришла в голову хорошая идея. Вместо того чтобы в очередной раз давать слово, лезть с подлыми сыновними поцелуями, цель которых перевести мать из состояния тихой, скорбной обиды в состояние не менее скорбной покорности судьбе, я решил сделать доброе дело. Мама пару раз тихонько, себе под нос, жаловалась, что зимняя обувь её – растоптанные валенки на резине под названием «прощай, молодость», стали совсем уж никуда не годны. Ноги промокают. Старые диабетические мамины ноги. В ближайшем обувном ничего подходящего нет, а отъезжать далеко от дома она одна боится. С похмелья я особенно как-то чувствителен, бодро всхлипнул и, вместо того, чтобы бежать за пивом, вошёл в соседнюю комнату и объявил, что мы прямо сейчас едем на рынок.

Она стояла у окна и разбиралась в каких-то жёвковских бумажках. Обернувшись, сняла очки и, в нарушение наверняка данного себе обещания не разговаривать с пьяницей сыном хотя бы до обеда, спросила:

– Зачем?

Я, гордясь собой и принятым решением, объявил зачем.

Убегавшая на работу жена удивилась не меньше матери, но выразила полнейшее одобрение. Деньги там, «ты знаешь», в шкафу, «должно хватить».

Поездка была не дальняя, но получилась длительной. Пока шли до остановки троллейбуса по улице имени сердобольного писателя Короленко, я уже в полной мере ощутил, что именно мне предстоит. И не думал, что старики ходят так медленно, особенно это чувствовалось на фоне моего состояния. Я вёл свою старушку как ребёнка за руку, принужденный нависать над нею из-за огромной разницы в росте. Меня и тошнило, и морозило, и душа подвывала. Гордости за принятое человеческое решение хватило ненадолго. Троллейбус, трудная, с оскальзыванием в слякоти и снежной жиже, со страшным кряхтением погрузки. Душные недра транспорта, пара наплывов полуобморока. Наконец вот она, остановка. Жуткая трамвайная развязка, с разбитыми, опасными для старых ног колеями, лужи меж серыми, подтаявшими снеговыми завалами, со всех сторон сопящие рыла злых машин. Сборный вещево-пищевой рынок у метро, мостящийся на нечистом пятке горбатого и дырявого асфальта меж домами. Толчея, как в троллейбусе, среди которой надо не просто перемещаться, но и что-то выбирать, примерять. Мама растерялась от гама наваливающихся со всех сторон предложений. Вертела в бледных, как-то особенно неловких пальцах обувь, взятую с прилавка наугад. «Давай примерим, мать!» – напористо предлагал небритый кавказец, вызывая что-то вроде ревности своей притворной ласковостью. Какая она тебе мать! Она мне мать! Незнакомо и, как мне казалось, чрезмерно сопя, она наклонялась, опираясь на мою нервную руку. Стаскивала мокрый бот с ноги вместе с чулком. Ни первые, ни вторые сапоги не подошли, третьи и четвертые тоже, то колодка не та, то подъём крутой, то ещё что-нибудь. «Ну давай ещё что-нибудь посмотрим!» – предлагал я ледяным тоном. Она уже смотрела на меня виновато, вот такая я, мол, некондиционная. Я знал, что если настою, то она согласится на любые сапоги, лишь бы меня не злить, и от этого мне становилось ещё тошнее. К тому же я прекрасно помнил, какой я «некондиционный» покупатель, мне, да ещё на рынке, да ещё под соответствующий щебет, можно всучить любую дрянь. Иногда хочется просто

поскорее заплатить и сбежать; и всегдашнее это иррациональное чувство неудобства перед продавцом, что не оправдываешь его ожидания, не даёшь себя обмануть быстро и легко, самое советское из чувств. В какой-то момент я ощутил, что незаметно перешёл на сторону торговцев, и мамино нежелание соглашаться с тем, что ей ну никак не годилось, стало казаться мне капризностью.

- Ну что тут ещё не так?
- Видишь, вот пятка не проходит, сынок, никак.
- А ты с ложкой, дайте ложку. Есть ложка?

Она обречённо топтала картонку, брошенную прямо на мокрый, в окурках асфальт, а у меня вертелось в голове неуместное – хороша ложка к обеду.

- Никак, сынок, никак.
- Попробуй сильнее, давай я.

Я дёрнул сапог за хляпу, он натянулся на ногу. Мама оперлась на подошву. С ужасом глянула на меня. Прошептала почти не слышимо.

- Нет, я не смогу так ходить.

Я по-лошадиному вывернул шею, шипя «ну я не знаю».

– Пойдём домой, – пробормотала мама, признавая, что я и так сделал слишком много, что вина моего вчерашнего незапланированного пьянства перекрыта этим, пусть и неудачным, усилием. Я понимал, что уйти можно, но вместе с тем понимал и то, что уйти никак нельзя, и от этого у меня внутри всё кипело и дрожало. Я боялся смотреть в мамину сторону, боялся, что она всё это прочтёт в моих глазах.

Женщина, помогавшая маме снять не подошедший сапог, поинтересовалась у неё, кто же это я такой, неужели сын?

– Сын, – сказала мама, и азербайджанка начала причитать: какой хороший мальчик, сам с мамой на рынок пришёл, сам покупает, ай какой сын, счастливая та мать, у которой такие почтительные дети. Я посмотрел на маму, глаза у неё блестели, только следствием чего была эта влага – гордости или отчаяния. И тут во мне что-то крутнулось. Да, в тон торговке зарычал я с неожиданным облегчением и приятно крепнущей наглостью, куда-то пропало ощущение тупика. Да, вот пришёл сын с матерью и хочет ей сапоги spravить, а ничего-ничегошеньки на целом рынке, таком замечательном, превосходном рынке найти не может.

– Как не может, почему нет? – пел уже какой-то сочный, усатый акцент за углом палатки, и перед глазами явилась коробка с парой отличных полусапожек, с невысоким, как и надо, каблучком, из мягкой, уж точно натуральной, кожи, с меховой опушкой.

- Перемерьте, мадам, – сказал обладатель уютного торгового голоса.

Мы «перемерили».

- Отлично, прям по ноге, – прошептала мама.

– Нет, – настаивал я, опьяневший от внезапной податливости реальности, – ты наступи-наступи на подошву. Берём товар, надо как следует всё проверить, надо...

Я не знал, как закончить, голос мой, слава Богу, потонул в гуле голосов собравшихся в нашей картонке торговцев.

Сапожки обошлись, конечно, значительно дороже, чем я рассчитывал, но всё равно был горд. А потрясённые причитания мамы на обратном пути, «такие ботиночки, такой старухе», совершенно примиряли меня с мыслью о том, что пива сегодня не будет.

Это была не то поздняя зима, не то ранняя весна; в год не сразу после расстрела Белого дома и не непосредственно перед дефолтом. Как бы там ни было, поносить эти замечательные сапожки моей маме Идее Алексеевне так и не пришлось. Сразу после нашего похода на промозглый рынок она слегла с простудой, а когда выздоровела и смогла выходить из дому, то на дворе стоял сухой и небывало тёплый апрель, и зимняя обувь выглядела неуместно. Мама, нежно протирая две новенькие кожаные статуэтки, прежде чем убрать их в шкаф на хранение, сказала:

- Эх, мне бы тогда такие.
- Когда тогда? – поинтересовалась Лена, моя жена.

Мама смутилась и махнула рукой, мол, ерунда, с языка сорвалось.

До новых холодов Идея Алексеевна не дожила.

Откуда такое имя, конечно же, хочется спросить. Объясняется всё очень просто. Родилась она в 1924 году и получила при крещении нормальное крестьянское имя Аграфена, но вскоре отец её, мой дед, вышел в партийные начальники средней руки и в порыве идейного энтузиазма переименовал всё своё потомство в революционном духе. Старшие мамыны сёстры Мария и Варвара стали зваться Тракторина и Даздраперма, то есть Да здравствует Первомай! Первая вскоре после обретения нового имени скончалась, а вторая под именем тетя Дуси прожила долгую, тихую деревенскую семейную жизнь в селе Приколотном, где-то среди украинских подсолнухов и тыков. Помню её регулярные посылки с семечками и обещаниями приехать. Умерла она лишь в год, предшествовавший описываемому.

Мама прожила совсем другую жизнь, бурную, безмужную, разъездную, то падая чуть ли не на уровень дочери врага народа, то взбираясь на вершину университетского образования. И судьба её имени прочерчена рядом с линией судьбы, и тут есть несколько замечательных пересечений.

Кстати, заикаясь на тот счёт, что поздно попали к ней знатные сапожки, она имела в виду конкретный эпизод. Написали сразу после освобождения Чугуева от немцев на мою маму донос. Во время войны она носила «пару раз» по ночам через Донец какие-то листовки в партизанский отряд, зато днём вела жизнь по отношению к оккупационному режиму выраженно лояльную. Учила немецкий язык и не стала скрывать этого во время оккупации и выучила очень хорошо. Хвасталась, что в её произношении опознают «берлинский диалект». Отсюда сигнал в органы. А командир подполья погиб, и подтвердить ночную честность комсомолки Идеи Шевяковой было некому. Из харьковской тюрьмы погнали её этапом в Казань по весенней распутице, а на ногах лишь старенькие, стоптанные, промокающие бурки. Ночевали в каких-то овинах, разрушенных коровниках, намокший войлок примерзал вместе с носками к коже... В Казани же, не сразу, но обнаружили документы, вроде бы опровергающие донос. Но репрессивная машина всё равно могла бы по инерции захватить её в свои жернова, если бы не следователь. Усталый («сильно курил, мне дал папиросу») дядька, видимо, просто пожалел молодую деваху и, собственно, под свою ответственность закрыл дело и отпустил домой. «А ты, сынок, говоришь, что ТАМ все были сволочи. Не-ет, разобрались. Разобрались и извинились». Это из нашего спора конца 80-х. Демократический «Огонёк» гуляет по умам. Вокруг всеобщие коллективные поиски стукачей, и массовые агрессивные исповеди сидельцев. Конквест, «Архипелаг ГУЛАГ» и т.п. Помнится, мне было даже немного неудобно за маму – вроде бы и жертва режима, но какая-то неполноценная, всего семь месяцев заключения.

Глядя впоследствии по телевизору репортажи из перестроечных тюрем и колоний, на царящие там антисанитарию, беспредел и т.д., она любила рассказывать про чистоту, царившую в казанском застенке, «все в карболке»; про справедливый тамошний порядок, когда каждый получал положенное, и если к куску черняшки полагался довесок, то его прикалывали чисто очиненной палочкой. Я, конечно же, бубнил своё, что да, чисто очиненная палочка была, но и были миллионы и миллионы безвинных жертв. Мама спорить со мной не пыталась, уходила к себе в комнату, унося с собой своё мнение. Может, даже и не противоположное шумному моему, а особое. Это меня злило, и я начинал кричать громче, вываливал горы кроваво дымящихся фактов – Кронштадское восстание, Антоновское восстание, коллективизация, загранотряды, Беломор-канал... Идея Алексеевна тихонько вздыхала: «Да, «беломор» я курила», а то больше помалкивала, наливала себе чайку в огромную красную чашку в белый горошек и шаркала в свою комнату. Лучше бы она находилась явно по ту сторону идейной баррикады, горланила бы сталинские песни на демонстрациях КПРФ, как развязные старушки-веселушки, которых иронически демонстрировал киселёвский канал.

Забавно, но иной раз темы для своих пропагандистских нападок я черпал в журнале «Огонёк», подписку на который мама получила как секретарь парткома жэковской ветеранской парторганизации. Она была моложе и энергичнее отставных генералов и заплесневелых актрис, что проживали в окрестных домах. Она смогла обеспечить регулярное проведение партсобраний и сбор взносов, выступала в школах, объясняя линию партии в искривленной реальности. Её предшественник, отставной полковник МВД Арсений Васильевич Ногин, не мог на неё нарадоваться, регулярно названивал из санатория, из госпиталя. Мама произносила его фамилию непременно с ударением на первом слоге.

Где-то в начале 90-х одна из маминых подружек, с которой они часами обсуждали почерпнутый из телевизора «текущий момент», хвалили Гдляна, но отказывались понимать Сахарова, посоветовала ей обратиться в «Мемориал» как жертве репрессий. Она утверждала, что доказанным жертвам положены льготы и блага. Это был самый нищий год, кажется, 92-й, и я, и Ленка сидели без работы. Временами даже с едой было трудно. Поколебавшись, Идея Алексеевна отправила запрос в архив Харьковского КГБ. Представляю, вернее, не представляю, чего ей это стоило. Всю свою взрослую жизнь она панически скрывала не только факт ареста, но даже то, что была на оккупированной территории. Раз пять всякие парткомиссии заворачивали её дело о вступлении в КПСС. Получив бумажку с бледными буквами из КГБ, она глядела на неё, как мне показалось, с какой-то даже тихой, странной гордостью. В бумажке было написано, во-первых, что она подверглась аресту, а во-вторых, что полностью реабилитирована. Формулировка лестная в обеих своих частях.

Но идти на заседание районного «Мемориала» долго не решалась. Потом всё же пошла, явно стесняясь своей демократической недоношенности – всего семь месяцев. Там её приняли с восторгом, оказалось, что среди многочисленной, требовательной тамошней братии она была чуть ли единственной пострадавшей «лично». Все сплошь дети и двоюродные племянники репрессированных. Маме тут же предложили войти в ихний руководящий орган, чувствуя в ней яркую общественницу и видя ценный кадр. Она отказалась, сославшись на состояние здоровья. Не могла же она им прямо сказать, что переход с

партийной работы на антипартийную – это всё же слишком круто. Даже для неё, привыкшей резко и решительно ворочать штурвал своей биографии.

Замуж мама вышла уже глубоко после войны, после окончания университета и моего появления на свет. Пробыла в этом качестве довольно короткое время, недели полторы. Мой приёмный отец Михаил Михеевич Попов, моряк-речник, напившись как-то, решил с пристрастием расспросить супругу, почему это она завела ребёнка вне брака. Вообще-то такие вопросы лучше задавать до похода в ЗАГС. После этого разговора, закончившегося вничью, Идея Алексеевна взяла чемодан в одну руку, меня в другую и отправилась в жизненное плавание. Из Харькова в Алма-Ату в конце 50-х, из Алма-Аты в Белоруссию в конце 60-х. А фамилия речника вместе с отчеством так навсегда с нами и остались.

С университетским дипломом преподавателя иностранных языков мама легко повсюду находила себе работу. Почему-то в любой школе, в любом техникуме, даже сельскохозяйственном, всегда была готовая должность для «иностранца». В 60-е годы страна осознала свою мировую роль и готовила соответствующие кадры. С другой стороны, нигде не было никакого жилья. Всю жизнь, сколько себя помню, мы перебивались по каким-то баракам, съёмным комнатам, общежитиям – удобство только во дворе. Как оказалось, все хорошие и, главное, свободные квартиры собраны были в Москве. Только тут, в столице, мы довольно быстро и сносно устроились с жильём.

Особенно запомнился мне барак в посёлке Спиртзавод, что под Алма-Атой. Как-то ночью пьяный завуч местной школы со звучной фамилией Кунанбаев решил зайти в гости к одинокой учительнице французского и английского языков. Мы проживали тогда в сараюшке с дощатой, щелястой дверью, закрывавшейся изнутри на проволочный крючок. Словесные уговоры на лихого завуча не подействовали, обещания завтрашнего разбирательства на местном он не испугался и начал ломиться. Было понятно, что дверь долго не выдержит. Вместо того чтобы меня успокаивать – я сидел как Будда в своей кровати, с круглыми, перепуганными глазами – мама схватила жёсткий ивовый веник, которым мёлся у нас глиняный пол, и бросилась к дергающейся на кожаных петлях двери. Между верхним её краем и притолокой имелась довольно широкая щель. Именно туда мама и нанесла удар. Пук ивовых прутьев, заточенных о каменную глину, пришёлся прямо в физиономию казахского кавалера. Он издал чудовищный крик, смесь боли, обиды и ещё чего-то, и убежал в ночь, и крик его ещё долго слышался, и казалось, что он уносится не просто в темноту, но вверх в горы, стоявшие тут же, сразу подле посёлка.

А в горах было красиво, особенно весной. Оттуда приходила изгибающаяся вдоль русла стремительной, ледяной речки шеренга тополей. Белые вершины сияли, и вся протянувшаяся по берегу пыльного шоссе мелкотравчатая, пропахшая запахом хлебной барды жизнь, казалось, происходит не просто так, а в присутствии высочайших особ. А однажды я видел там чудо – заросший маками холм, который после мелкого дождя переливался под плавным ветерком как выступивший из земли громадный бриллиант. А за этим холмом был Азат, чеченский аул, которым даже взрослые взрослых пугали как адским жерлом.

Именно в этой местности, между чеченским аулом и снежными вершинами Тянь-Шаня, я пережил приступ эдипова комплекса. Это было удивительно, потому что не только география, но и моя биография была против этого. Рос я в неполной семье, не было отца, чье присутствие могло бы провоцировать взрывы сдавленной ревности. Но Фрейдов демон всё же ожил во мне и явился в неклассической и, можно сказать, не острой форме.

Лет примерно до пяти мама брала меня с собой в баню в женское отделение исключительно по той причине, что не с кем было меня отправить в мужское. Так поступала не одна она, три-четыре ребятёнка мужского пола всегда можно было увидеть в мокром, замедленном хаосе женской плоти. Наступил, конечно, такой момент, когда я ощутил, что нахожусь среди этих фигур с чёрными треугольниками под животом не совсем по праву. Это чувство было не острым и даже не неприятным. Я догадывался, что нарушаю какое-то правило, но понимал, что мама меня защитит в случае чего. Из-под невидимого покрывала её опеки я с осторожным любопытством осматривался, в то время как тело мамы, наоборот, сделалось полным табу для моего взгляда. Разумеется, в моем поведении появились странности, и мама почти сразу же сделала правильный вывод о причине этого, и я стал мыться дома. Но это не конец эдиповой истории. Через год я пошёл в школу, и меня прямо на уроках стали посещать довольно странные, неприятно тревожащие мысли. Стоило мне услышать за окном класса коллективный шум-смех – какой-нибудь класс выкатился на урок физкультуры, как мне отчётливо представлялось: многочисленные орущие дети тащат на руках голую Идею Алексеевну. Я начинал ёрзать за партой, чуть ли не скрипеть зубами. Просился выйти и, только убедившись, что это просто злые восьмиклассники носятся за истерзанным мячом, успокаивался. Вот такая глупость. Скоро это прошло. Что меня, собственно, тревожило, возбуждало страх и ревность? Что моей матерью, которую я считал своей абсолютной собственностью,

«обладает» ещё кто-то. Коллектив школьников. После Спиртзавода в жизни мамы были самые разные коллективы. Хоры, парткомы, самодеятельные театры, но больше никогда их отношения с мамой не волновали меня в такой патологической степени. Венская хворь в семье с ампутированным отцом принимает вид фантомной боли.

Тему Фрейда и Тянь-Шаня можно считать закрытой.

Как прикатила в великие азиатские предгорья Идея Алексеевна Попова с чемоданом и сыном, так и укатила с сыном и чемоданом.

Да, такое впечатление, что я всё детство держался за руку матери, снизу вверх. Однажды именно эта связь нас и спасла. Пересекали мы, уж не помню по какой надобности, великую казахстанскую степь. И остановились на станции с названием Чу. Теперь-то я понимаю, это было не поселение, а пришипленный к карте крик, направленный во всю ширь бескрайнего выжженного пространства. Чу!!!

Туалеты в вагоне во время стоянок не работают, а мне захотелось. Мы завернули за здание водоканчки, там было одноэтажное строение с пыльными зарешечёнными окнами, но тут же кис на солнце раздолбанный газик с сонным шофёром в кабине. Завернули за него, а там арба, а под ней женщина с голой грудью и ребёнок с орущим, заскорузлым ртом, потом ещё один пакгауз, гора слежавшегося угля и унылый степняк верхом на спящем ишаке. Мы петляли, кружили, пока не оказались в совершенно, кажется, пустом проулке, где я спешно начал отстёгивать ляжку, поддерживавшую мои короткие «пионерские» штанцы, но мама вдруг кратко и звучно крикнула: «Бежим!» И мы рванули вдоль по проулку, я, держась за мамину крепкую руку, зачем-то обернулся и увидел двух огромных, оскаленных, мчащихся за нами верблюдов. Они неслись бок о бок, раскачивая вправо-влево пустопорожними горбами и крест на крест ставя огромные плоские лапы. Они были как волосатый поршень в кирпичном русле проулка, сбивали боками старинную пыль с засохшей под стенами полыни. Бегство наше продолжалось удивительно долго, я успел оглянуться два раза и обнаруживал их всё ближе и ближе к нам, и когда уже страшный храп совсем уж навис над нашими головами, мама свернула в сторону, буквально выдернув меня за руку из-под живого катка.

Случай этот всплыл в моём похмельном сознании, когда я вёл свою старушку на рынок за теми самыми сапогами. Вёл за руку, как большой ведёт маленькую. Так, собственно, и было – я раза в два выше мамы. Похмельные состояния характерны не только вспышками внезапной, истерической жертвенности, но и тягой к довольно примитивным жизненным обобщениям. Вот, подумал я, переводя свою запыхавшуюся старушку через улицу Короленко, такова наша жизнь: начинается с того, что мама меня водила за руку, теперь я её вожу. Да, да, идёт время. Когда-то я был идеальный ребёнок, ангел послушания. Очередной наш барак (в какой части бескрайнего отечества происходило это, не важно) стоял неподалеку от оврага, я был отпущен поиграть с мячиком на лужайке, но с одним жестким условием, что ни в коем случае не перейду тропинку, что пролегалa между баракoм и oврагoм. Мама пила в это время чай с подругами и конфетами. Через некоторое время прибегаю я с сообщением, что мячик закатился за тропинку, и с вопросом, можно ли мне сходить за ним. Всеобщий восторг собравшихся учительниц, сияющая мама. Вот что значит послушный сын! А спустя каких-то тридцать лет этот мальчик, распухнув до ста с лишним килограммов, отрастив бороду, заставляет мать-пенсионерку выбрасываться вон из столь милой её сердцу партийно-общественной работы. Трудно и определить, когда произошло это превращение ясноглазого маменькиного сынка в угрюмого и раздражительного тирана.

Идея Алексеевна подчинилась, хотя было видно, что без азарта. Сын настоял, и она сложила полномочия, трудно сказать, с какими чувствами внутри. Внешне – уравновешенное, не трагическое спокойствие. Надо, значит, надо. Сын сказал, что ещё полгода, год и коммунистов начнут вешать на фонарях, значит, заботится о маме, думает о ней, зачем его подводить, неразумно упорствуя. Наверняка он знает больше. Я даже чувствовал, как она себя уговаривает: пора становиться старушкой, пора вместо партбилета получить в руки кулёк с внуком. Но догадываюсь, эти разговоры не давали ей полного душевного равновесия. Успокоила же грамота от райкома к семидесятилетию, в которой её благодарили за заслуги. «Они меня обидели!» – сухо, серьёзно сказала мама. Интересно, чем? Я с усмешкой прочёл этот документ: набор общих фраз, подписи, печать. Прочёл ещё раз, непонятно. Подумал даже, не в задетом ли тщеславии здесь дело, недохвалили. Оказалось, всё дело в первой строчке – «Награждается Лидия Алексеевна...» Вот она, значит, кем была для них! Была в этом небрежном, сглаживающем переименовании какая-то неуловимая недооценка её как личности.

Лидией Алексеевной называли маму студенты Жировицкого совхоза-техникума в Белоруссии, где она в конце 70-х преподавала английский и французский. Это адаптивное своего имени к аборигенским языковым привычкам она терпела, но, как однажды выяснилось, без особого восторга.

Я нахватал в восьмом классе троек, и меня решено было сдать в этот самый техникум под родительский присмотр. Там я получил свой первый диплом техника-электрика. Дипломная работа моя назы-

васлась интересно: «Разработка системы навозоудаления на ферме крупного рогатого скота». Тогда, в пятнадцать-семнадцать лет, я был ещё ближе к тому мальчику, что спрашивал разрешения перейти тропинку за мячиком, чем к начитанному, мнительному бородачу. Я начал изучение английского давно, на домашних уроках ещё в Казахстане, знал его настолько лучше любого из окружающих меня электриков и механиков, что даже слегка маскировал своё превосходство. Хотя, как показала дальнейшая жизнь, маскировать-то было и нечего. Английский язык прошёл сквозь мое сознание, почти не оставив следов. Он ощущался мною как дисциплина в общем-то схоластическая, что-то вроде латыни; возможностей для будущего применения английского я видел даже меньше, чем для системы скребковой транспортировки коровьего навоза, предложенной мною в дипломной работе.

Что же говорить о «хлопцах» – так, немного заигрывая с местным национальным колоритом, мама называла своих студюзусов; они воспринимали уроки ин-яза как некие камлания. Большинство их, я и сейчас помню некоторые фамилии: Крот, Ёрш, Бусел (аист), выбрали своим непереходимым Рубиконом линию определённого артикля. Мама раз за разом, из месяца в месяц показывала, как надо чуть раздвинуть зубы и вставить между ними кончик языка, а потом толкнуть изнутри воздух, чтобы получился приблизительно правильный звук – «дзэ». Зубы раздвигались, язык высовывался, кипела слюна от напряжения, но уже через минуту, когда только что обученный «хлопец» начинал читать текст по учебнику, получалось всегда одно и то же – «тхе». Мама не сердилась, даже посмеивалась над собой – «мадам Сизиф», но, по-моему, всё же год от года потихоньку теряла уверенность, что построение коммунизма дело достаточно скорое. Но, несмотря на все сомнения, гнула и гнула свою линию, сколь бы мало та ни гнулась. Ей очень нравилась фраза Песталоцци, что светлое будущее намывается, как золотой песок, по крупичкам.

И вот после трёх лет упорной борьбы, когда уже и Крот, и Ёрш, и даже Бусел всё же перешли Рубикон, остался на прежних позициях один самый упорный парень с официантской фамилией – Метропольский. Он стоял насмерть. Он не только хуже всех знал английский, он хуже всех знал сопромат и электрические машины. Уже решено было его исключать. Его спасало только то, что был он тихоня и в рот не брал хмельного, к тому же за него заступалась на педсоветах англичанка. Мама делала это не из примитивной жалости, она втайне надеялась «добить» его, вырвать из его рта драгоценный звук. Это была бы подлинная победа – целая, полная группа правильно артикулирующих «хлопцев». Маленький коллектив, сделавший шаг в нужном идейном направлении. Тут очень важно, что именно «коллектив». И неожиданно ей сообщают, что Метропольский напился и подрался. «Выгоню!» – решительно сказала мама, направляясь к месту преступления. Зная её, можно было верить этому заявлению. Когда она вошла в общежитие, вокруг засуетились однокурсники, естественно, стараясь «прикрыть» товарища. «Лидия Алексеевна, его тут нет». «Лидия Алексеевна, да он почти не пил», «Лидия Алексеевна, он всего разок ударил этого в очках». Метропольский был обнаружен на кровати. Положение – ничком. «Переверните его», – велела Лидия Алексеевна, видимо, чтобы в глаза сказать бездельнику всё, что требовала ситуация. Он разлепил тяжёлые веки и вдруг громко, отчетливо произнёс, глядя в глаза преподавательнице: «И дзэ я?»

Наутро на педсовете мама вновь решительно высказалась за то, чтобы Метропольскому дали ещё один шанс для исправления.

Может быть, армия выковала мне новый характер? Отношения наши заметно начали меняться, когда я стал наезжать из Москвы из института на побывку. Мама вышла на пенсию в своём совхозе-техникуме, получив в подарок от сослуживцев две трети ковра (треть оплатила из своих), и занималась тем, что вязала и скучала, а я читал Кастанеду и слушал живьём Окуджаву, как мне было не вознестись над нею. Собственно, помнится, я ничего такого и не изображал из себя, много ел, бездельничал, но оно как-то само собой чувствовалось, моё необыкновенное духовное взросление.

Да, мамочка заметно состарилась, единственное, на что у неё доставало сил, это на борьбу за свое перемещение поближе к сыну, то есть в Москву. И это ей удалось в результате непростой, ступенчатой комбинации, она добыла комнатку в коммуналке здесь, в Сокольниках, где я пишу эти строки. Здесь она, уже вполне по инерции, занялась общественной работой (ветеранский хор, жэковский партком), в эту коммуналку я и переехал к ней из своей однокомнатной норы на Можайке, полученной от Союза писателей. Уволил из парткома, но позволил хор.

Впрочем, кажется, я немного преувеличиваю степень её уступчивости и податливости в так сказать идейных вопросах. Молчаливо, с безрадостной покорностью отползая по всем фронтам, она вдруг могла встать насмерть на неожиданном, на мой взгляд, совершенно неважном участке. Посетила капище несомненного мировоззренческого врага – заседание районного «Мемориала», но выступила решительно и даже ехидно против всенародно понравившегося фильма «Собачье сердце». Сначала я даже не обратил

внимания, что это она там обиженно бурчит, странная моя старушка. «Что ж, это простому человеку и хода никакого не может быть в жизни?!» Фильмец-то вышел шикарный, рассыпался по всем московским кухням словечками-шуточками, гениальный Евстигнеев купался в роли гениального профессора, умудряющегося с таким интеллигентским изяществом держать в прямом смысле слова за яйца всю эту тупую, ублюдочную, большевистскую власть. Как в этой ситуации можно было отнестись к недовольному бормотанию неприметной пенсионерки – снисходительно усмехаться, да и всё. Но некое чувство, названия для которого я никак не отыщу, заставило меня плотнее заняться этим случаем. Почему-то мне было не всё равно, что моя мамаша, в прошлом учителька, очевидно, и даже с каким-то вызовом берёт сторону ублюдка Шарикова. Понимает «сердце собаки». Почему-то я не мог спустить это на тормозах, махнуть рукой, мол, стариковская дурь, рассеется. Я, безусловно, числил себя в лагере Преображенских-Борменталей и желал туда же перетащить и свою мать. Мне казалось, что для этого достаточно просто объяснить ей несколько несложных лемм. А эмоциональную окраску этому поединку придавало раздражение, всегда закипавшее во мне, когда мои интеллектуальные команды не выполнялись беспрекословно и немедленно. Как это сметь перечить самому мне! Начал я тихо, рассудительно, но потом, поскольку доказывать самоочевидные вещи так же трудно, как описывать стакан, возгорелся от собственного логического бессилия и перешёл на оскорбления и крик. «Быдло», «грязные», «твари», «хамы», «узурпаторы», «Учредительное собрание», «животные», «свое место», «грабители». Мама сидела на кровати, сложив руки на коленях, глядя на меня твёрдо и вместе с тем с сожалением, что вынуждена меня огорчать. Один раз попыталась пояснить, что имеет в виду, сказала, что именно Советская власть вывела её в люди из «собачьего» состояния, дала ей высшее образование, а иначе ей бы так и сгинуть босоногой девчонкой где-нибудь в алтайской деревушке на конюшне у дяди Тихона или дяди Григория. И вообще не было бы построено никакой новой жизни.

– Да? – иронически выверился я. – И до сих пор сидели бы мы при лучине? То есть ты считаешь, что если бы остался при власти царь, то ничего, НИЧЕГО вообще в стране не строилось бы, хлеб бы не родился, руду бы не копали, рубашек не шили?!

И ещё я ей про «великий железнодорожный крест» – Архангельск – Севастополь, Брест – Владивосток, при царях, мол, построен, а не при краснопузах, похлеще БАМа будет дельце, про то, что жилой фонд Москвы до начала строительства «хрущоб» на 75 процентов был дореволюционным, что во время первой мировой не было карточек, что вообще страна перед революцией все Америки обгоняла по темпам роста.

В полемическом разъярении я крикнул, что, может быть, её перемещение из алтайской конюшни на университетскую скамейку в Харькове не стоит той платы, что внёс народ через раскулачивание и другое прочее. Может, честнее было бы остаться при дядькиных лошадаках, чем всю жизнь изображать потом педагога, ибо нет же у неё – пусть признается – учительского дара – собственного сына даже одному иностранному языку не сумела обучить, зная три.

Она помолчала и тихо спросила:

– А почему ты так уверен, что ты из них?

– Из кого, «из них»?

– Из профессоров. Мы из простых, сынок, и ты бы тоже коров пас босиком, кабы не революция.

Эта простая мысль заткнула пасть моему напору. По основной линии спора двигаться было уже бесполезно, я вскочил со стула, махнул рукой – в общем, знак поражения – и крикнул:

– Да что ты всё талдычишь «босоногая», «босиком», что у тебя обуться не во что?! – и малодушно выскочил вон.

Я думал, мы рассорились если не навсегда, то надолго, но уже очень скоро я полностью вернул свои позиции, добился полнейшего покорства.

Случилось так, что я уехал на несколько дней, а вернувшись, застал интересную ситуацию. Пришла посылка из Германии. Это был момент почти настоящей голодухи в нашем семействе, весна или лето 92 года. Тогда всем было трудно, Москва вдруг обросла миллионами огородов, только деревенский подвал, забитый картошкой и морковкой, давал шанс на будущее. И тут вдруг поступила в город гуманитарная помощь. Сердобольные граждане Германии собрали кто что смог из еды и одежды, чтобы не дать помереть с голоду жителям страны, становящейся на демократические рельсы. Распределялась эта помощь через ЖЭКи, и маме как бывшей активистке тоже досталась посылка. Пакет риса, пакет какой-то лапши, две упаковки галет, невкусный шоколад, сахар и ещё что-то. К моему приезду всё это было уже почато, отпробовано, мама демонстрировала посылку – теперь я это понимаю – с чувством, что вот какая я молодец, добытчица! Семье трудно, так и с паршивой овцы хоть кулёк сахара. Меня же эта посылочка очень задела, даже не сама по себе, а эта мамина радость в связи с нею. Я резко повернул ситуацию в идейную плоскость: это не посылка, а подачка, представь только себе самодовольство этой бюргер-публики, которая за такую смешную цену, за кило рисовой крупы, получает возможность переменить

итоги великой войны. Как же, побеждённые кормят победителей! Ну я бы ещё понял, если бы... но ты! которая... которую... В общем, я напомнил ей о некоторых интересных моментах в её общении с германскими оккупационными силами в те годы, о которых я узнал из её же рассказов. Или всё тогда было не так уж страшно, всё списано временем? Говорил я, против обыкновения, тихо, как человек, абсолютно уверенный в том, что говорит. Мама хмуро слушала. Не помню уж, какова была судьба конкретного риса и шоколада, но на следующий день Идея Алексеевна сообщила мне:

- Я написала ей письмо!
- Кому?
- По-немецки.

Оказывается, в посылочке был обратный адрес. Мама вспомнила, что первым её иностранным языком, ещё со школы, был именно немецкий, его она знала куда лучше французского и собственными силами освоенного английского.

– Её зовут фрау Ремер, я всё ей написала, – помолчав, мама добавила, сурово прищурившись: – Пусть знает.

Съехавшись с матерью, я обнаружил, что у мамы появилось новое имя – Алексеевна. Так её звали окрестные старушки, круглосуточно заседавшие на скамейках перед подъездом. Мама не возражала, откликалась, когда к ней так обращались, но внутрь дома, как я догадался, это имя не желала пускать, пусть оно остаётся исключительно уличным. Смириться с ним полностью – это значит слиться с тёплой, серой массой совершенно политически тёмных бабулек, вяжущих и сплетничающих в тени лип. Для неё это было бы подобно идейной смерти. Да, она ушла из секретарей по требованию семьи, но продолжала считать себя человеком думающим и равнодушным, от которого даже что-то зависит в этой жизни. Пусть единственным политическим собеседником у неё остаётся телевизор, она общается с ним в качестве именно пожилого коммуниста ИДЕИ Поповой, а не старушки Алексеевны. Но наступил момент, когда и эта её позиция была атакована. Мой друг Сашка Кондрашов, верующий, более того воцерковленный человек, ужаснувшись революционному имени мамы и узнав её крестильное имя, воодушевлённо заявил, что впредь будет её звать только так – Аграфена. Он был ещё больший ненавистник советчины, чем я, и справедливо считал, что времена коммунистического мрака на земле нашего отечества миновали и теперь оставшиеся ошмётки его нуждаются в активном, безапелляционном истреблении. Поскольку он бывал у нас в гостях очень часто и голосом обладал завидным, то имя Аграфена грохотало постоянно. Сашка считал своим долгом поддерживать его звучание в воздухе квартиры. Мама не спорила, не сопротивлялась, виновато улыбалась и помалкивала. Более того, спустя некоторое время начала проявлять некоторый энтузиазм в религиозном отношении. Собственно, это произошло не в силу истинной духовной потребности, и даже не по возрастным причинам, как у других стариков, мол, пора задуматься о вечном, о душе. Ей почудилось, что в наши дни быть христианином, значит, быть вроде как передовым, современным человеком. Не в банальной моде, конечно, тут дело, но и не совсем без этого. Всегда она считала долгом настоящего гражданина быть на переднем крае, и если уж передний край пролегает теперь перед иконостасом, то что же делать – задрать штаны, бежать за крестным ходом.

Она отставила свой бодрый, безапелляционный атеизм, который был идеологией нашего малого семейства во все годы моего детства. «Науку и жизнь» сменила «Наука и религия». Сколько помню, мама не верила в Бога энергично, наступательно, иронически. Пресловутые 60-е сдержали в самом своём идейном воздухе флюиды привлекательного прогрессизма. Мы жили тогда в заброшенном, запыленном Спиртзаводе, но и как бы в некоем гражданском Армагеддоне, где шла битва сил прогресса и отсталости. «Безумные идеи» Ариадны Громовой, «Девять дней одного года», где герой рассеянно говорит «зачем мне квартира?» И, конечно, во множестве научно-фантастических романы, где описывалось загорелое, зубастое будущее, в быстрое достижение которого тогда вполне верилось. Особенно неотвратимо верилось в быстрое и неизбежное наступление «блистающего мира» там, в бараке с глиняным полом, рядом с шоссе, по которому проносились молоковозы, налитые хмельной хлебной жижей.

Вершиной богоборческой маминой веры стал роман С. Снегова «Люди как боги», симпатичная космическая опера о победоносном проникновении коммунистических идей в самое сердце галактики и вежливой гуманизации всего густо, оказывается, населённого разнообразными монстрами звёздного мира. Монстры в основном были добрыми и вменяемыми. Мама перечитывала эту книгу раз двадцать, прилепала к ней меня, навязывала своим ученикам, пыталась найти единомышленников среди коллег. Насколько я сейчас вспоминаю, просветительская её деятельность особым успехом увенчана не была. Идея действенного добродушного коммунизма не прижилась ни в предгорьях Тянь-Шаня, ни в пойме Припяти, куда была перенесена в мамином чемодане. Студенты сельскохозяйственного техникума, в основном выпускники белорусских деревенских восьмилеток, мыслили больше практически, если не

сказать приземлённо. Фантастикой «хлопцы» особо не зачитывались. Больше думали о том, как бы в сентябре вырваться помочь «копать бульбу» на домашнем участке да привезти оттуда сальца и цыбули, а в качестве культурного досуга предпочитали попить пивка в чайной «Ёлочка» и поплясать в клубе под радиолу. В известной степени мамина проповедь коммунизма будущего была гласом вопиющего в Полесье. Студенты отлынивали, а преподаватели тихо посмеивались. Я их понимаю, инженеров и ветеринаров, выросших из числа тех же самых тружеников частной бульбы. Странновато выглядела мамина устремленность в XXII век в сочетании с почти полной безытностью, жизнью от зарплаты до зарплаты в крохотной общежитской комнатке, когда положение преподавателя техникума давало большие, почти легальные возможности для солидного самообеспечения. «Люди как Боги» – название, как я потом сообразил, не случайное. Собственно, кто они такие эти счастливые и могучие жители будущего, поставившие себя на уровень богов? Если угодно, романтическая модификация человекобогов Достоевского. То есть, как это ни забавно, мамуля моя участвовала, как умела, в величайшей идейной битве нашей отечественной культуры, и, кажется, не на той стороне. И не только словесно. Наш совхоз-техникум, где она преподавала уже не раз упоминавшийся, пролетавший мимо моего сознания англиш, располагался на территории и в помещениях известного Жировицкого православного монастыря, и в дни крупных церковных праздников, когда в единственном неотобранном у монахов соборе происходила служба, мама в компании других преподавателей создавала оцепление у жарко и ярко пылающего храмового входа, дабы отсеять студентов, привлечённых ложной красотой богослужения. На пути юных душ к вере плечом к плечу стояли химия, физика, полеводство, электрические сети, детали машин, технология металлов, английский язык с фантастикой.

Самое смешное, что Идея Алексеевна дожила до победы своих инфантильных, но ярких идей. Собственно что произошло у нас в стране с приходом к власти Гайдара? В постперестроечной реальности пришли к власти читатели фантастики, конкретнее – читатели братьев Стругацких. Раскрепощённые, остроумные насельники академгородков, университетских общаг и комсомольско-молодёжных редакций пестовали идею иного, честного и разумно устроенного мира среди мерзостей окружающей действительности. Это было незримое, безоговорочное объединение людей, объединение почти религиозного свойства. Светская церковь. Двум случайно встретившимся МНСам достаточно было обменяться несколькими словечками, чтобы увидеть друг в друге братьев по духу. А если ещё в кустах отыщется гитара... Можно даже допустить, что лучшие из них (не приспособленцы, ставшие теперь банкирами) хотели хорошего не только для себя, но для всех. Для страны. Главная ошибка этих «лучших» была в том, что они хотели этого быстро, сразу, не задумываясь о мерзостях переходного периода. «Понедельник начинается в субботу». Легко видеть, что в этой формуле пропущен главный член – воскресение. МНСы думали, что если они готовы жить по-новому, то и все остальные тоже готовы. Думали, только кинь клич, и люди воскреснут для новой жизни сами собой. Оказалось – никак нет. Косные народные массы не желали одним махом превращаться в жителей светлого будущего. Помню, году в 1990-м киоск «Союзпечати» на автовокзале неподалёку от Краснодара, и там вянувшие штабеля того самого «Огонька», из-за которого шла грызня в столицах. Каляканье Карякина про «Ждановскую жидкость» было глубоко по фигу местному хлеборобу. И «крепкие хозяйственники» довольно скоро это почуяли, сдули розовую пену и поделили страну с бывшими стройотрядовцами и комитетчиками.

Придя в 1982 году на преддипломную практику в журнал «Литературная учёба», я оказался в двадцатизатной стекляшке, населённой комсомольскими журналами, где очень скоро обнаружил интересную вещь – среди нескольких сотен журналистов, что там подвизались, не было ни одного человека, который бы честно, не в условном пространстве партсобраний, стоял бы за Советскую власть. Все рассказывали анекдоты про Брежнева, шутили насчёт «загнивания Запада» и, допив кофеёк, шли сочинять передовицу для «Молодого коммуниста». Искренне не видя, кстати, ничего противоестественного в таком своём поведении. Я пришёл туда из Литинститута, где царили схожие настроения, где прямо в коридоре общежития я менял «Лолиту» на «Архипелаг», совершенно не опасаясь, что это станет известно институтскому начальству. Что же, я сделал вывод, что таково мнение всего народа. Исходя из этого опыта, я и принуждал маму бросить парткомство. Это уж много позднее мне стало ясно, что мои опасения насчёт того, что коммунак в один ужасный момент начнут вешать на столбах, были более чем смехотворны. Это значит, коммунаки должны были вешать сами себя или быть повешенными своими детьми, приехавшими на каникулы из Оксфорда.

Впервые некоторые сомнения на этот счёт у меня появились как раз в момент объединения наших с мамой жилплощадей. В её трёхкомнатной коммуналке умерла старушка Марья Герасимовна, оказалось, что комнатку свою она не приватизировала, и тогда я решился на страшную, как мне казалось, авантюру – затеял поменять свою однокомнатную квартирку на комнату третьего соседа. Ну, поменял, но для надёжного присоединения третьей комнаты нужна была сильная бумага. И мне её дали в бюро

обслуживания нашего писательского союза. Там было жирным чёрным по белому написано, что «По постановлению Совета Народных Комиссаров от такого-то числа 1930 года, член творческого союза имеет право...» С робким сердцем нёс я эту бумагу куда следует. Чувствовал себя как офицер СС, идущий с запиской от Гиммлера в секретариат Нюрнбергского трибунала. Но при виде документа все чуть не встали по стойке смирно. Это была, что называется, «настоящая бумажка, фактическая броня». Я обрадовался, но и удивился. С одной стороны, всё идёт к тому, чтобы забрасывать веревки на фонари для активистов советского режима, с другой, неотразимо действуют постановления Совета Народных Комиссаров.

Наступили лихие 90-е, и Идея Алексеевна не распознала в забавно чмокающем премьер-реформаторе гостя из предвкушавшегося светлого будущего, героя прогрессивной саэнс фикш. Однажды я услышал, что из маминой комнаты доносятся странные, ни на что не похожие звуки. Я осторожно заглянул. И увидел, что бывшая преподавательница иностранных языков сидит перед телевизором и плюётся в экран. На экране был зять Аркадия Стругацкого Егор Гайдар.

Увидев меня, она спросила:

- Ты купил мне эти щётки?
- Какие щётки?
- Ты же читал мне сегодня.

Я ей и Лене прочёл утром шуточную заметку из «Московского комсомольца» о том, что в Москве в продажу поступили телевизоры с установленными на экране автомобильными дворниками, ибо в последнее время зрители стали часто плевать при просмотре телепередач.

Вообще-то, по маминым рассказам, она была в молодости заядлая «капустница», любила пошутить-похохотать, но чувство юмора куда-то исчезает с годами. Может быть, это и к лучшему.

Кстати, телевизор у мамы был как бы немного бесноватый. Временами ни с того ни с сего он сам в себе переключал громкость и начинал орать в самых неожиданных местах, как бы подчёркивая некоторые слова. Когда это случалось посреди нейтрального текста, то воспринималось просто как имитация скверного человеческого характера. «В Волгограде ноль – плюс пять. В Краснодаре плюс два, плюс четыре. В Астрахани плюс три, плюс пять. ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ!» Мама вздрагивала и морщилась, однажды сказала: «Ну он прямо как Николай». Я попытался выяснить, о ком речь, но она только махнула рукой. Забавнее выходило, когда телевизор принимался редактировать политические тексты. Особенно мне запомнилось заявление Примакова: «Я возмущен СООБЩЕНИЕМ об убийстве Галины Старовойтовой!» Бездушный прибор выделил смысл и так уже вложенный политиком в своё высказывание. Он возмущён не столько самим убийством, сколько фактом сообщения о нём. Несколько раз я предлагал вздрагивающей телезрительнице – давай купим новый, но она категорически отказывалась, трата представлялась ей просто безумной. Приходили телемастера, что-то там подпаивали, но лечения хватало не надолго. Но однажды она сама завела об этом речь, когда ей показалось, что телевизор её предал. Он внезапно закричал вместе с уже упоминавшимся выше политиком: «РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!» Но поскольку это мамино настроение продержалось недолго, наверно, прибор одумался и подкорректировал свои высказывания.

В то время она была наиболее готова к тому, чтобы войти в двери церкви. Помешала, как ни странно, биография. Мы, алтайское ответвление чугуевских Шевяковых, испокон веку староверы. И в известный момент своей душевной смуты мама отправилась именно в староверскую церковь, что было вообще логично, откуда вышел, туда и возвращайся. Нашла такую где-то возле Таганской площади. Что уж там произошло, в деталях осталось мне неизвестным, только вернулась она оттуда в ярости. Я спросил в чём дело. «Какие невнимательные». На её языке это был просто мат. Потом, по мелким деталям, проскальзывавшим в разговоре, я понял, что её, задав несколько наводящих вопросов, элементарно грубейшим образом выставили вон из староверской церкви. Так получилось, что столкновение с сектантским угрюмством бросило тень и на всю церковную тему. Мама однажды мягко, даже смущённо попросила меня поговорить с Сашей Кондрашовым, чтобы он больше не называл её Аграфеной, всё-таки, как ни говори, у неё ведь даже по паспорту совсем другое имя. На лице у меня выразилось, видимо, столь заметное неудовольствие, что она сразу же замахала руками.

- Ладно, ладно, если ему хочется, то пусть уж называет, как хочет.

Один раз зачерпнув из колодца путанной старушечьей памяти, я вижу, что слишком много упустил. Вообще, возможно ли хоть какую-нибудь жизнь рассказать вместе и полно, и связно. Уж за такой вещью, как хронологическая последовательность событий, я и не гонюсь. Было бы хоть общее ощущение единого течения. И как выверить, в какой степени должен присутствовать я сам в этом повествовании. Единственный любимый сын, «свет в окошке», «главный мучитель», но вместе с тем рассказ всё-таки не обо мне.

Зачерпнем ещё раз.

Пожалуй, всё самое интересное и, может быть, важное в жизни Идеи Алексеевны случилось ещё до моего появления на свет. Протекала она, жизнь, частью на Алтае, потом в Чугуеве, потом в Харькове. В Чугуеве умерла моя бабушка Елена Ивановна, в молодые годы соратница деда-переименователя, между прочим, первого секретаря Алтайского Губкома ВКПб, сама член этого Губкома, потом почему-то сразу, без объяснённого толком перехода повариха правительственного вагона-ресторана в поезде Алма-Ата – Москва. Часть плохо мне известного человеческого объединения, которую можно было бы назвать «нашим родом», была выброшена из-под Харькова на Алтай в годы Столыпинской реформы. Земли, лошади, гражданская война, дядя Тихон за красных, дядя Григорий за атамана Мамонтова. Или наоборот. Всю свою литературную молодость я считал, что у меня есть в запасе «тема», родовой клад, специально сберегаемый до появления того, кто сможет им как следует распорядиться. Как-то недавно открыл я этот сундучок, потянул носом, «тема» истлела. Или я сам истлел для неё.

Мама разъезжала часто вместе с бабушкой-поварихой, и однажды хорошо накормленный Ворошилов даже подержал маленькую Идочку на руках. Ворошилов подражал Сталину, маленькая моя мама невольно копировала артистку Аросеву.

В Чугуеве же произошёл и расстрел.

Об этом эпизоде мама рассказывала мне больше всего, и вместе с тем он остался наиболее затуманенным в моей памяти. Случилось так, что немцы схватили девушку Идею, за что именно, ей-Богу, выпало из головы. Или не было толком объяснено. Может быть, уклонение от отправки в Германию. Была некая подруга Сима, работавшая в комендатуре и предупреждавшая когда надо, что нужно на время схорониться, а тут вдруг не предупредившая. Лепится сюда и версия с теми же самыми листовками, упоминавшимися выше, наградой за которые впоследствии был этап и гигиеничная казанская тюрьма. То ли их у девушки Идеи случайно обнаружил патруль, то ли кто-то донёс, что их можно у неё обнаружить. В общем, оказалась мама в пустом станционном сарае вместе с кучей другого задержанного народу. Там были школьники, деповские рабочие, торговки с рынка, почему-то бригада маляров и прочие всякие люди. Когда мама отсидела в страшной неизвестности часов пять, пригнали очередную партию задержанных. Среди них оказалась мамина соседка по улице Мартемьяновна, увидев знакомое лицо, она в голос, на весь сарай: «Ида! Ида!» Тут же возник из-за двери оказавшийся там офицер и тоже кричать: «Юде?! Юде?!» Маму выволокли из сарая, она, благо, сразу сообразила в чём дело и, благо, что в школе учила и хорошо учила дойч, начала яростно и на хорошем немецком отрешиваться от своего имени. На свету её рассмотрели и принуждены были согласиться, что она скорее Лида, чем то, что они подумали. Кстати, белорусские неучи никогда не узнали, что это не они прилепили своей «англичанке» это обтекаемое прозвание, что оно родилось в драматический момент её жизни и с помощью немецкого языка.

«Вот так, сынок, как одна буква может сыграть, а ты всё пишешь, пишешь», – сказала мне мама, причём без всякой подковырки, а с печалью безрадостной констатации в голосе. Но я, помнится, тогда (не печатали совершенно, и даже надежда на то ниоткуда не поблескивала) обиделся, и ехидно напомнил ей, что своевременное принятие псевдонима от больших неприятностей её не избавило. Мама замкнулась и впоследствии на эту тему со мной говорить отказывалась. Пересказываю то, что запомнилось по прежним рассказам, запомнившимся кое-как.

Вечером того же дня явился вдруг в сарай другой фриц в плетёном погоне и с толстым ручным фонариком и, руководствуясь своими соображениями, выбрал из сидячей толпы пятерых человек. Четверо – рабочие-железнодорожники, пятая – девушка по имени Лидия. Впрочем, этот имен не спрашивал, велел всем выходить. На улице поджидала шестёрка солдат с винтовками. Мама особенно настаивала, что с винтовками. Офицер приказал – вперёд, туда идти, за железнодорожное полотно, в ковыли. Отошли метров на сто пятьдесят, а там уже вырытая могила. Вернее, какой-то ров, но всем стало понятно, что будет он могилой. Вечерело. Густой, дымно-красный закат. Тёплый ветер облеплял платьем колени. Офицер построил осужденных на краю рва, шагах в пятнадцати встали его стрелки. Ахтунг! Стволы смотрят в глаза. Вскрик офицера. И, как утверждает мама, дальше ничего. Очнулась от непонятного тьяканья справа от себя в кустах. Наконец разобрала, что голоса человеческие. «Титку, титку, ты живая, ползи сюда!» Какие-то пацаны, как потом выяснилось, подсматривали за расстрелом и сообщили девушке Лидии много интересного. Оказывается, один из рабочих, «той що с чупром», в самый последний момент перед залпом сделал шаг чуть вправо, как бы закрывая своим плечом стоящую рядом девушку. Он, кроме того, пока их строили, пока щёлкали затворами, всё утешал её: «Не бойсь, дочка, не кручиньсь». Мама напрочь не помнила никаких слов. «Тай, зря ён», – сказал другой парнишка. «Почему?» Выяснилось, что один из солдатиков, молоденький, белобрысый, что стоял напротив неё, стрелял заведомо поверх маминой головы. Ничего особенно удивительного в этом факте не вижу – молоденькому пареньку, хотя

бы и фрицу, трудно вбить пулю в симпатичную девушку и, если есть возможность увильнуть от такого задания, постарается увильнуть. Значительно большее моё любопытство вызывал всегда этот пожилой железнодорожник, какое самообладание на краю могилы, степень не думанья о себе, высчитывал ведь момент, когда шагнуть вперёд, да ещё небось так, чтобы выглядело непреднамеренно.

Когда пришла команда по засыпанию рва, недостреленная девушка Идея уже далеко отползла по ночным кустам. Утром у неё отнялись ноги, и два месяца она не могла встать с кровати, но это всё мелочи.

Надо понимать, ей было не суждено умереть тем тёплым вечером. Ни в качестве еврейки, ни в качестве русской.

В еврейском звучании её имени заключалась не только опасность, но и польза. В послевоенном Харькове самым лучшим клубным коллективом обладал, конечно, Дом милиции. Это был Олимп художественной самодеятельности города. Там происходили сочные вечера под Новый год, в Первомай и в День министерского праздника, а в другие дни ставились скетчи, опереттки и прочее в том же роде. Мама попала на эту вершину не снизу, а сверху, из профессиональных сфер: её отчислили из Театрального института, где она училась, между прочим, одновременно с самой Людмилой Гурченко. Знакома, правда, не была. О причине отчисления мама распространяться не любила, что понятно, но вместе с тем чувствовалось, что и какого-то жгучего горевания по этому поводу у неё не было. Кажется, причиной было что-то объективное. Непорядок с голосом. Голос у мамы был замечательный, породистый, сопранистый, но гулял по ритму. То есть в хоре она держалась уверенно, как кирпич в стене, а оказавшись в самостоятельном плавании в каком-нибудь дуэте, начинала торопиться, дергая аккомпанемент. Вот с отделения музыкальной студии, на котором она пыталась подвизаться, маму и попросили, объяснив, что перспективы у неё нет.

В тот момент, когда как раз начиналась неприятная полоса в институте, кто-то из однокурсников познакомил её, так просто в фойе, с впоследствии знаменитым Леонидом Быковым. Кажется, уже и к моменту знакомства за ним что-то числилось по киношной части. Леониду было совершенно всё равно, как там у мамы с чувством ритма, он тут же стал «ухаживать». И явно «с самыми серьёзными намерениями». «А что, сынок, был бы ты сейчас такой же маленький и лопоухий». Леонида Быкова мама мягко, но решительно отшила. Потом, когда его показывали в роли матроса Мокина, окончательно уверилась в том, что поступила тогда правильно.

Зато в Доме милиции её «с руками оторвали». Тем более что один дуэт, «Одарка и Карась» из оперы «Запорожец за Дунаем», Ида Шевякова всё же сберегла в своём заглавнике в исчерпывающе вытверженном виде. Коллектив Дома в значительной степени состоял из евреев, и мне сейчас трудно сказать, за что именно маму «отрывали с руками», за звучание голоса или за звучание имени. Самодеятельные артисты – милейшие люди по большей части – были не только евреями, но и работниками органов, что создавало неповторимую одесско-чекистскую атмосферу. Судя по всему, маме там нравилось, сам дух непрерывного капустного творчества, розыгрышей, куплетов и т.п. Суровые следователи по особо важным делам, сбросив свои кожанки и френчи, начинали немедленно безбодно острить, дружелюбно дурачиться и покатываться со смеху.

Сохранилось несколько альбомов фотографий, говоря современным языком, портфолио той маминой деятельности. Много спортзала: мама на бревне, на коне, шеренга гимнасток с на удивление увесистыми формами. Какая-нибудь нынешняя Хоркина смотрелась бы там как член сборной Бухенвальда. Мама с пистолетом в решительно вытянутой руке, в роскошном чёрном платье, с огромной брошью на груди – скетч «На старой даче». Куча друзей из той поры; надо думать, время самых сильных личных переживаний. Была влюблена, и именно в следователя по особо важным делам по имени Захар. При суровой работе он был маменькиным сынком, про него говорили, что и жену он себе ищет, чтобы максимально походила на его «тётю Дору». Моя мама на еврейскую не походила совсем, поэтому шансов у неё не было никаких. Там же в Доме у неё появилась закадычная подружка Анька Кулишенко, отношения с которой сохранялись, несмотря на разлуку, почти до самого конца. Жили они весело, «не пропускали ни одного нового фильма». Особенно мне почему-то запомнился рассказ о культпоходе на «Скандал в Клошмерле», французскую комедию со смешной сценой посещения мэром города нового муниципального туалета. Что уж там такого мог учудить мэр в туалете, только мама с Анькой тогда так хохотали, что их принуждены были вывести вон из зала, несмотря на близкое знакомство с милицией.

Было ещё одно учебное заведение в судьбе мамы между театральным институтом и университетом, и весьма необычное – протезный техникум. Занявшее в её жизни даже меньше места, чем навозоудалительное заведение в моей. Но без упоминания о нём не будет доведена до конца немаловажная обувная тема. Протезы – ведь это своего рода обувь. На этом поприще мама тоже кое-чего достигла, её дипломной работой было изготовление пешеходного устройства для одного инвалида; мамин протез пришёлся

ему по ноге с одной примерки, и он прямо так и ушёл к себе домой, во весь голос восхваляя молодого специалиста. Говорят, он так распридноровался в этот день, что сломал руку.

От этой искусственной конечности уже совсем просто перейти к человеку по фамилии Бут. Это мой отец. Я никогда не видел и не стремился особенно увидеть. Факт моего существования был ему известен, но он даже бровью не повёл, чтобы увидеть меня. Для тех, кто не знает Бут, в переводе на русский значит Нога. Был он студентом художественного института, и Идея Шевякова познакомилась с ним, явившись наниматься в натурщицы. Этот фрагмент маминой биографии ещё более тёмный, чем история с расстрелом. Разузнавать что-то обо всём этом я начал уже в те времена, когда мама была пожилой, сугубо положительной и очень советской женщиной. Советской в том смысле, что «у нас секса нет». О том, что ей приходилось не просто общаться с молодым художником, а позировать ему, и позировать в обнажённом виде, она обмолвилась всего раз или два и с ощутимой неохотой. В душе её явно происходило боре́ние двух идей: с одной стороны, следовало служить кристальным положительным примером подрастающему сыну, с другой, надо было что-то делать с собственной жизненной установкой – правда и только правда! Результатом этого боре́ния было то, что я получил информацию хоть и правдивую, но куцую. Был волен домысливать в меру своей испорченности. Но в те времена, когда я об этом узнал, у меня не было в запасе достаточно грязи для соответствующих выводов воображения. А когда я помотался по мастерским и дачам и такой пищи скопилось сверх всякой меры, то успела отрасти способность к пониманию, переходящему в сочувствие. Причём это «понимание» касается обеих сторон, принявших участие в акте моего появления на свет. Я упорно верил маме, что отношения обнажённой женщины с малюющим её молодым парнем – вещь, ни в малейшей степени не компрометирующая женщину. С другой стороны, чем дальше, тем больше я готов был различать крупницы здравого смысла в заявлении юного художника – «это не мой ребёнок!» Намёк на то, что модель по имени Идея позировала не одному ему, что входит в понимание её профессии. Точно определить, где тут кончается здравый смысл и начинается подловатость, трудно. Вполне возможно, что художник был искренне убежден в своей правоте. Ему предложили работу в Москве, а тут под ногами какая-то тетка старше его четырьмя годами и с совершенно неуместным ребенком. Понимая его как мужчину, не понимаю как сына. Тем более если судить по позднейшим фотографиям, сходство между нами несомненное. Впрочем, всё это разговоры для мёртвых. Отец, если это отец, умер раньше мамы. Перед моей поездкой в Москву в институт мама написала ему письмо, мол, помоги, коли можешь. Мне казалось, что подготовка, полученная в сельскохозяйственном техникуме, не давала стопроцентной уверенности, что я поступлю в Литературный институт. Это потом я выяснил, что шансы поступить у меня были только в это заведение, и ни в какое другое.

Мы так распределили непереносимые и неприятные переживания в связи с этим почтовым шагом. Я кипел еле сдерживаемой гордой обидой, пару раз даже выкрикнул что-то вроде: «Не надо, прошу тебя». Мама спокойно приняла на себя обязанность унизиться. Заявлением «это не мой ребенок» нас одинаково пнули в своё время, а мы в ответ, спустя пусть и восемнадцать лет – «с просьбочкой». Но и моя поддельная гордость, и мамино спокойное самоуничижение (главное, сыночку как-нибудь помочь) всё оказалось зря. Послание не дошло. Я это выяснил через пару месяцев в Москве, художник Николай Бут давно уже не жил по тому адресу, на который мы отправили мучительное послание. Странно, но, установив, что на самом деле унижения не было, я не испытал облегчения. И никаких серьёзных попыток встретиться с родителем не предпринимал более никогда.

А художник он был, – я не специально, не регулярно, но тем не менее коллекционировал отзывы профессионалов, – хороший. Правда, с сильным военизированным уклоном. Грековец. Участвовал в работе над гигантскими батальными панорамами в разных городах. Кажется, в Белгороде, ещё где-то. Как-то на отдыхе в Крыму мы купили с Ленкой альбом под названием «Аджимушкай». Партизанская жизнь известковых подземелий во время войны. В общем, впечатляюще. Ощущение жуткой жажды чувствовалось даже сквозь липкую бумагу репродукций. В этом авторском альбоме был чёрно-белый портрет родителей художника. То есть, вполне возможно, моих деда и бабки. Пара престарелых, сурового вида хохлов. Взгляд исподлобья, натруженные руки. Долго всматривался. Нет, никакого шевеления внутри. Мои корни в этом направлении протянулись неглубоко, да и засохли на первом же изгибе.

Я показал альбом маме, она долго его изучала в своей комнате, потом принесла и отдала мне. Как бы показывая, что это сугубо моё имущество. Но при этом ни одного сопроводительного слова. А что тут можно было сказать? Альбом, с одной стороны, ничем не подтверждал её утверждение, что у неё некогда было знакомство с ныне преуспевающим художником, с другой, никак не компрометировал, не выставлял на обозрение в голом виде. Тема партизанского сопротивления в подземных каменоломнях не нуждалась в обнажённой натуре.

В своём детстве я много, больше, чем, скажем, одноклассники, уделял времени военным играм. Не только носился с палкой по кустам или подрывал найденные в заросших окопах патроны. Сам что-то

мастерил, неделями сидел на полу в каникулы, двигая пластилиновые флоты и фаланги. Может быть, в этом изобретательном игрушечном воевании сказались отцовские гены. Сказать по правде, не густое наследство, потому что ни малейших способностей к рисованию мне по этой хохляцкой линии не досталось.

Интересно, что всё началось с денег. Или, правильнее сказать, с денег начался конец. Вот уж с чем в нашем крохотном семействе было просто. Жили точнёхонько от зарплаты до зарплаты. Слава Богу, что в те поры её не задерживали даже на день, более того, если в этот распорядок втискивался праздник, выплачивали заранее. Никакого представления о «чёрном дне», оно и понятно, откуда ему взяться при стойкой и полной вере в неотвратимо наступающее «светлое будущее». При маминой профессии, да если ещё и помноженной на её характер, способов к разбогатению не было. Иностранные языки в школьном и техникумовском образовании вещь неотменимая, но вместе с тем и вполне боковая. Во времена нашего белорусского сидения в общежитии совхоза-техникума сумки с пахучими подношениями и завернутые в газетку пачечки десятков от маститых заочников шли магистрам более основательных, практических наук, где всё связано было с металлом, электричеством и особенно логарифмом и дифференциалом, что, по сути, справедливо. Ничего – ни золотой цепочки, ни браслетки или колечка – на память о маме-бабушке не осталось у Идеи Алексеевны или, может, разметалось всё по железным дорожкам от Алтая до Полесья. Помню отлично такой случай: в ювелирном магазине Гродно выбросили «золото» (то ли подорожало оно, то ли подешевело), и образовалась страшная, с давкой, скандалами очередь, мы проходили мимо, и мама с самым неподдельным смехом комментировала происходящее. Мол, что за странные люди, для чего копить эти жёлтые побрякушки, отказывая себе во всём. Нисколько не притворялась. Сила внушения была такова, что я до глубокой молодости остался при отчетливом внутреннем убеждении, что любое золото есть нечто обременительное, косное и чуть-чуть смешное. Его роль в мире только одна – заполнять сундуки кладов и болтаться на ушах и шеях кинопринцесс.

Но поскольку общее настроение на этот счёт было иным, Идея Алексеевна ощущала, так же, как и в случае со своей фантастикой, дискомфортную свою инородность и лёгкую иронию окружающих. Её искренне удивляло, как люди снисходительны к разного рода растратчикам и пойманным ловчилам, и каким уважением пользуются ловчицы не пойманные, «умеющие жить», и она вдобавок была смущена тем, что сама вызывает удивление своими мнениями. Особенно сложным стало её положение, когда она вышла на пенсию, а я уехал учиться в Москву. Мне надо было «помогать». К моей стипендии требовалось ещё как минимум пятьдесят рублей в месяц, чтобы я мог вести тот безалаберный образ жизни, который казался мне единственно возможным. Завела огородец и засела за старую швейную машинку. Когда-то, ещё в спиртзаводовские времена, мама была человеком, продвинутым в плане моды. Выписывала журналы с выкройками, мастерила рискованные модели для меня, себя и самых передовых коллег. Полёт её творческой фантазии был сродни житейской решительности, она и ситец кроила с той же лихостью, что совершала переезды через всю страну с одного голого места на другое голое место. Теперь, правда, швейных крыльев своих слишком не распускала. Обслуживала знакомых пенсионеров, выезжала на соотношении цена – качество. Полученные тройки и пятерки превращались в Москве в «Тамянку» и «Актафу». Курсе где-то на третьем я наконец понял, что сидение на материнской шее долее продолжать уже нет никакой возможности. И тут же подвернулась отличная работа, во-первых, ночная, во-вторых, высокооплачиваемая, в-третьих, рядом с общежитием. Да к тому же в компании своих приятелей. На местном молочном комбинате надо было превращать сухое молоко в жидкое. Мы вспарывали двадцатипятикилограммовые мешки и высыпали содержимое в чан с кипятком. Четыре часа поздним вечером через день, и двести рублей на карман. После возвращения со смены можно было ещё и в преферанс перекинуться. Попутно руководитель моего семинара в Литинституте пристроил меня рецензентом в одно крупное издательство. Тогда же промелькнули первые заметные гонорары. Одним словом, я начал высылать маме по сотне в месяц. Каждый перевод производит эффект разорвавшейся бомбы на деревенской почте. Об этом Идея Алексеевна с гордостью мне сообщала. Ещё бы, все прочие учащиеся детишки только сосут деньги из своих родителей, а тут такой уникам отыскался, что сам шлёт из столицы в деревню. Можно только догадываться, как он там устроился. Конечно, воспользоваться этими сотнями мама никак не могла, потому что заранее было решено, что это собирается сумма для уплаты будущей фиктивной жене за московскую прописку. Мама обладала не деньгами, а самой идеей денег, очищенной даже от главного в них – покупательной способности. Никому она об этом, разумеется, не говорила, просто тихо купалась в лучах совершенно бескорыстной материнской славы. Как же, именно у неё, у самой непрактичной, уродился такой тороватый сынок. Оказалось, то, что он так много читает и корябает пером бумагу, совсем не означает, что существо совсем пропащее.

Да, началось всё с денег. Возвращается как-то мама из магазина и начинает жаловаться на продавщицу. Стоит в прихожей, мнёт десятирублёвку, но не как обычно, а с едва заметным надрывом в голосе. Сначала я не обратил внимания. Слишком это было похоже на общестариковское возмущение

современными рыночными порядками, ухватками торговцев и, главное, наглыми, скачущими наподобие блох ценами. Это что-то сродни плеванью в телевизор и столь же действенно. Через пару минут, выйдя из ванной, я обнаружил, что сцена продолжается, и в ней уже участвует не только мама, но и Лена, которая искренне, кажется, старается разобраться в сути дела. У супруги моей с моей матерью отношения сложились очень хорошие с самого начала и ещё улучшились с того момента, как мы съехались в этой квартире. Объяснение самое простое – мама с первого дня и полностью отдала молодой самке все бразды правления в доме, кухню, хозяйство, деньги и т.п. Себе оставила самое скучное – оплату коммунальных услуг. К тому же, поскольку именно я был в доме главной фигурой, возмущающей спокойствие и порядок, то мама просто из природного чувства справедливости принуждена была держать сторону жены. Та же в ответ взяла под тихую человеческую защиту старушку, вечно попираемую на идейных фронтах слишком начитанным сыном. Вечно пилила меня, что слишком невнимателен к матери, что она, живя с нами, всё же живёт как бы на отшибе и давно уже просто растоптана сыновним авторитетом, которому лучше бы найти более здоровое применение.

И вот эта история с деньгами. Лена отправилась в магазин с явным намерением поставить там всех на место. Она умеет разговаривать с магазинной публикой, выматывая им жилы неустойчивой вежливостью и знанием своих прав. Вернулась она минут через пятнадцать, пребывая в явном смущении. Оказалось вот что. Идея Алексеевна хотела приобрести в булочной упаковку крекеров стоимостью в двадцать четыре рубля при помощи бумажки достоинством в десять рублей.

– Мне даже неудобно было перед ней, – сказала Лена, имея в виду продавщицу. – Говорит, раз пять обьясняла вашей бабушке в чём дело, она своё.

Мы растерянно косились на дверь маминной комнаты. Там было тихо, но чувствовалось, что там ждут результатов расследования. Последовал на удивление тяжёлый разговор. Пришлось начинать с ужимок, вроде того, что за последнее время деньги так часто менялись, что и молодому человеку немудрено запутаться, а не то что... Я посмотрел в глаза мамы и понял, что она не верит ни одному моему слову. Она перевела взгляд на Лену, та тоже залопотала что-то в том же роде. Очень неприятно, но приходится признать, что продавщица была права.

– Хорошо, – сказала Идея Алексеевна. – Разобрались. Спасибо.

Дурацкое положение: точно знаешь, что не виноват, но одновременно всё же и несомненный предатель. Сколько раз бывало раньше: я приполз домой под утро, нарушая данное накануне обещание «больше никогда, никогда», гримасничая, лезу целоваться, вытаскиваю подлыми пальцами последние мятые бумажки из беззащитного старухино кошелька, чтобы сбежать при этом ещё за пивом, но не ощущаю себя таким гадом, как в истории с несостоятельной десяткой.

Вечером этого же дня я, забредя, как это часто бывало, в книжный магазин, неожиданно увидел там отличное издание французского романа «Скандал в Клошмерле». И купил его, чтобы загладить несуществующую вину. Напомню, думал, молодость, приятно ей ведь будет. Вошел, вручаю. Едва посмотрела на обложку. Спрашивает – доверено ли ей будет впредь платить по жэковским жировкам или необходимо сдать дела. Да что ты, что ты! Конечно, это твоё... в том смысле, что... в общем, плати. Что характерно, в ближайшие три месяца никаких финансовых недоразумений в этом направлении не возникало, и мы с Леной совсем было уж решили, что случай с десяткой был именно всего лишь случай.

Лена меня часто пилила: ну что там она одна и одна сидит у себя, как в норе. В самом деле, матушка слишком уж нам не докучала, нальет чаю в свою чашку в горошек, сделает бутерброд с докторской колбасой и к себе. К некогда оплеванному телевизору-Николаю. Она держала свою уже чуть трясущуюся руку на политическом пульсе страны. Все выборы, все референдумы «да», «да», «нет», «да» прошли через её сердце, запиваемые горячим чаем. Самая большая неприятность состояла в том, что ей не с кем было поделиться переживаниями. Я, что было многолетне проверено, для этих целей не годился. По её мнению, у меня в голове была совершеннейшая каша, думаю, к концу жизни она пришла именно к такому выводу. К тому же ей поднадоели и моя раздражительность, и моя снисходительность. Старухи, навечно засевшие на скамейках у подъезда, для общения тоже не годились. Их интересовала скорее политика двора, чем думская. Перемывание костей, переплетение сплетен, это Идее Алексеевне было неинтересно. «Тёмные», – отзывалась она о пенсионерках. Особенно её огорчала Галька-татарка, такой, казалось бы, подходящий кадр, трактористка тридцатых годов, чуть ли не первая мусульманская женщина, севшая на пахотный механизм, а никакой сознательности. Бродит с грязными клетчатými сумками от парижского универмага Тати, собирает бутылки и сведения о том, кто кому изменил. Была ещё Тамара Карповна, вдова подполковника, старушка, по словам мамы, «воспитанная», но почти совершенно глухая. Если все остальные бабки называли маму «Алексеевна», то эта только по имени. «Ну что, Идея, гулять пошла?» «Ну что, Идея, хлеба купила?» Отвечать ей было бесполезно.

В идеале маме подошло бы для благодушного, наполненного смыслом старения общество пикейных

жилетов, где она бы образовала женскую фракцию. Но окрестные старички давно перемерли, подчиняясь утверждениям газет, что продолжительность их жизни на десять лет меньше, чем у старух. А те, что остались, сидели с удочками на пруду за соседним домом. Единственной отдушиной был полковник Ногин, вот он понимал всё, судил обо всём сходно, кипел похожими возмущениями, но одно плохо – редко был в состоянии составить компанию даже по телефону, потому что больше проводил время в реанимации, чем дома.

Вот и сидела Идея Алексеевна у себя в комнате. Когда мне становилось стыдно или когда Ленка совсем уж допекала меня упреками, я заходил к ней, усаживался в старое, замызганное кресло и, перебарывая чувство неловкости, заводил какой-нибудь разговор. О прошлом мама вспоминала неохотно и всё с меньшим количеством подробностей. Чувствовалось, что она как бы не вполне доверяет моему интересу, её смущает моё тыканье пальцем в те драгоценные для неё события. Вдруг ни с того ни с сего взял, явился и рассказывай ему про то, как пили чай за столом у дяди Григория. Мне приходилось даже напоминать: скуповат был и бородат, изрядный лошадиный, брал в ладонь кусок желтого сахара и откалывал ножом тоненькие, как слюда, кусочки. И надо было с этим «напиться чаю». Она кивала, да, правильно. Вот и повспоминали.

Еще хуже вышло с моей попыткой навести политические мосты. Я приносил ей газету «Завтра», пел про «антинародный режим», смеялся над Ельциным. Но она, вместо того, чтобы обрадоваться этому как акту политического единения родственных душ, смущённо улыбалась и лишь формально, без страсти кивала. Я было подумал, что она просто начала утрачивать интерес к политической сфере, но это было не так. Как-то я сидел у неё, кое-как лепя разговор, мама кивала, вздыхала, раздался телефонный звонок, она взяла трубку и просияла. «Арсений Савельевич!» Это звонил Ногин. Очень скоро я почувствовал себя совершенно лишним на этом празднике телефонной жизни.

Я уже упоминал, что между матерью и женой сложились, можно сказать, противоестественные отношения. Свекровь до такой степени отказалась от какой-либо борьбы за должность хозяйки в квартире, что поселила этим в невестке чувство доброжелательной неловкости. Ленка решала, когда и какой мы будем покупать холодильник, какие и где поклеим обои, как переставим мебель на кухне и какой положим там линолеум, и знала, что возражений не будет никаких. За это у неё временами просыпалось желание «отслужить» старушке. Попитать её родственным вниманием. Во-первых, она всегда правильно звала маму – Идея Алексеевна, не сбиваясь на упрощенно-народное, ни церковное именование. Во-вторых, она чаще, чем кто-либо, вспоминала о мамином диабете. «Да что это вы всё, Идея Алексеевна, хлеб с колбасой да чай, давайте я вам гречки сварю». Мама несколько раз отказывалась под разными предлогами, однажды даже сообщила, что это ей врач прописал такой режим питания.

– Да это только доктор-убийца мог прописать вам, диабетика, докторскую колбасу. Чистый крахмал.

Мама покорно вздохнула как всегда, когда её ловили на какой-нибудь несообразности, и сообщила правду.

– Да ты знаешь, Леночка, я ведь вкуса вообще никакого не чувствую. Только вот колбаска...

Лена с большим и вполне искренним энтузиазмом относилась к маминым гостям. Чаще других у нас оказывались дочки Аньки Кулишенко, они повыводили замуж за офицеров и время от времени пересекали страну с запада на восток и с севера на юг вместе с мужьями и детьми. Проездом через Москву. Неврастения и гостеприимство вещи несовместные, для меня каждый такой визит был кошмаром. Лена отставляла меня как пугало в угол ситуации, чтобы не травмировать гостей, и поддерживала марку дома. О чём-то щебетала с жёнами, совала конфеты детишкам. Мамуля была довольна и благодарна и говорила, что с женой мне повезло.

Однажды по телевизору показывали знаменитый советский фильм «В бой идут одни старики». Ленка вдруг оживилась, она тоже знала историю про давнее харьковское ухаживание Леонида Быкова за молодой артисткой Идой Шевяковой. «Поди, поди, позови Идею Алексеевну, пусть с нами как следует посмотрит».

Я обрадовался удобному случаю навести мосток, ибо после случая с той злополучной десяткой чувствовал, что между нами пролегла зона тягостного непонимания. Чувствуя себя почти таким же хорошим, как в тот момент, когда повёл мамашу за сапогами на рынок, я привел её в нашу комнату к значительно лучшему телевизору, чем тот, что был у неё, удобно усадил, смотри, мол, наслаждайся.

Во все те моменты, когда на экране появлялся Леонид Быков, мы с Леной любопытствующе косились на Идею Алексеевну. Она была внимательна, серьёзна, кажется, в её лице высвечивалось нечто сверх того, что бывает просто при просмотре хорошего кино, какой-то интимный оттенок. Быков появлялся на экране всё время, но по поводу того, что я высмотрел в мамином лице, я так и не смог сделать внятного вывода.

Когда всё закончилось, она спросила, как называется кино. Я ответил, внутренне прищуриваясь. Мама вздохнула, поднялась с дивана и сказала со смесью назидательности и обречённости в голосе:

– Да, сынок, сейчас такое время, что только одни старики и идут в бой, а молодёжь только курит на дискотеке.

– Почему же только курит, ещё и танцует, – мрачно возразил я.

– Вот-вот, а ты всё шутишь, тебе всё равно. А надо что-то делать.

С некоторых пор я обратил внимание, что мама полюбила прогулки. Сначала я обрадовался, всё-таки не будет одна сидеть перед телевизором с куском докторской колбасы. Как водится, и в нашем доме, и в соседних хватало старушек, уже давно похоронивших своих старичков, доживающих век в семействе сына, дочки или в коммунальном одиночестве. Когда они не сплетничали на скамейке перед домом, они делали это, прогуливаясь парочками по асфальтовым дорожкам между домами. Вполне умиротворяющее зрелище. Я решил, что мама снизила уровень своих интеллектуальных запросов и готова поддерживать беседы о домашнем консервировании, давлении и т.п. Компания – вещь великая. Но я рано обрадовался. Однажды мне понадобилось её срочно отыскать. Ни много ни мало звонила та сама харьковская Анька Кулишенко, чьи дочери залетали к нам время от времени. Чувствуя свою вину за не слишком радужное к ним отношение, я решил – исправлю впечатление о себе. Тем более настроение было подходящее, непонятно почему, благодушное и даже игривое. Я сказал старинной маминной подруге, что ужасно рад её слышать и, конечно же, помню о ней. Мама столько о вас... Целый альбом фотографий, где они на репетиции и на площади Дзержинского, «в таких шляпках», а с ними двое мужчин в длинных пальто и оба в очках. Один высокий, а другой... Да, да, это Севка и Зорька». Да, слышал, мама рассказывала. А особенно мне нравятся те фотографии, где они, такие молодые, дурачатся в каком-то харьковском парке, притворяются, будто собираются съесть огромные клубничины, нарисованные на щитах, что стояли на клумбе. Тетя Аня хохотала, я чувствовал по голосу, что она очень довольна. «Да, были, что ж, тогда молодые, а теперь вот разные хвори-болезни. Я тебе свитер свяжу». «Спасибо».

– А где она, ну, Идочка сейчас?

Я сказал, что гуляет, «прописан моцион», но сейчас я за ней – это быстро – сбегая. Минут через десять можно будет перезвонить.

Во дворе мамы не оказалось. Значит, на пруду. Он располагался в сотне метров за ближайшими домами, несомненное богатство нашего микрорайона. Обведённый аккуратной асфальтовой дорожкой, обсаженный тополями, липами, где было место и для стариков, и для рыбаков, и мирных собак. Пара выпивающих компаний курлыкала в собирающейся вечерней тени в тылу гаражей. Я очень быстро обошёл его кругом, с каждым шагом всё более удивляясь, что ни на одной из скамеек мамы не обнаруживаю. Где это она у меня «гуляет» со своими «больными ногами». Вышел на улицу Короленко, потом на Олений Вал, заглянул в оба продуктовых магазина. Не найдя её и там, заволновался. Что это ещё такое?! Но не успел впасть в панику, смотрю, вот она – идёт по Большой Остроумовской под ручку с какой-то незнакомой мне молодой особой. Скорее всего, по направлению к дому. Вот оно, значит, в чём дело, Идея Алексеевна среди молодёжи ищет себе союзников и собеседников. Всегда вокруг неё вились какие-то «хлопцы» и «девчата», всегда она старалась сбить какой-нибудь самодельный коллектив, заварить что-нибудь похожее на те харьковские милицмейские капустники. Не хочет стареть душой Идея Алексеевна, а легче всего этого избежать, находясь рядом с подрастающим поколением. Мы с Ленкой для неё уже, пожалуй, староваты. Особенно я. Сорок лет, язвенная болезнь, цинизм. От капусты у меня изжога.

Я подошёл вплотную к интересной паре.

– Ну что ж ты, мам, меня пугаешь?! Бегаю, вот ищу, а ты...

Девушка обрадованно на меня поглядела.

– Вы кто, вы сын?

Ей ответила Идея Алексеевна, вздохнув.

– Да, это сын. – Можно было подумать, что она уже не видит во мне смысл своего существования.

– Очень хорошо, ваша мама, кажется, заблудилась. Я смотрю, аж, вы знаете, у стадиона «Знаменских», она не она, а это она. Я её помню, она раньше часто бывала у нас в конторе.

– Я не заблудилась, – сказала мама и, высвободив руку, которую всё ещё сжимала девушка, пошла к дому, благо, он был буквально в двух шагах.

– Спасибо большое, – кивнул я девушке, виновато разводя руками.

– Я работаю в бухгалтерии.

– Да? – Это информация не казалась мне в этот момент очень важной. – Спасибо вам большое...

– Знаете, вы бы зашли как-нибудь.

Я посмотрел вслед маме, как раз заворачивавшей за угол, стараясь при этом отвечать девушке хоть сколько-нибудь заинтересованной улыбкой, хотя никак не мог всё же уразуметь, что ей от меня надо.

– Конечно, я постараюсь, загляну. В бухгалтерию?

– Да. Это здесь, сразу за больницей.

– Да, да. А-а, вас как зовут?

– Это не важно.
 – А, ну да, – кивнул я, хотя предложение конторской девушки стало для меня совсем уж непонятным.
 – Хорошо, я взгляну.

– Только поскорее, а то время идёт. – Она развернулась и пошла себе обратно по Большой Остроумовской.

– До свидания, спасибо вам.

Когда я вбежал домой, мама разговаривала по телефону. Стоя, высоко подняв подбородок, как будто отвечала на какой-то официальный звонок.

– Я всё, конечно, помню. Только не в этом сейчас дело. Мы не можем отвлекаться и разбрасываться. Надо собрать остатки всех сил в кулак. И терпеть. А помощи ждать неоткуда, полагайтесь только на свои силы. До свидания.

И положила трубку.

– Кто это звонил, твоя Анька?

– Да.

– А-а, а зачем ты с ней так?!

Мама грустно улыбнулась.

– А как же иначе, сынок, время-то какое, иначе и нельзя. Расквасится человек, и все, пиши-пропало, выпал из рядов.

– Послушай, это же Анька твоя Кулишенко, лучшая подруга, ты ведь сама...

– Ничего ты не понимаешь, – сказала мама и зашаркала на кухню. Я догнал её.

– погоди, ты, может быть, не понимаешь, это Анька, из Харькова.

– Сам ты из Харькова, – сказала спокойно мама, отрезая кусок колбасы. Это меня на секунду сбило, потому что я вправду родился в этом городе. Но отступить я не хотел.

– погоди!

Я бросился в её комнату, рассчитывая на альбом со старыми фотографиями. Фото выпускного курса ХГУ, капустники в Доме милиции, поедание нарисованной клубники, скетч «На старой даче», ария из оперы «Запорожец за Дунаем». Это было непостижимо, но альбом не находился. Здоровенный, тяжёлый. Потом выяснилось, что Ленка взяла его, чтобы что-то придавить.

Мама стояла в дверях комнаты, отхлёбывая чай.

– Это что, обыск?

– Что ты несёшь! – рявкнул я, но тут же сообразил, что это... и продолжил вкрадчиво. – Ань-ка, Кулишен-ко, по-дру-га. Месяц назад у нас была её дочка с мужем, с сыном. А, вот. – Я увидел на краю журнально-обеденного столика «Скандал в Клошмерле» и в подробностях пересказал маме всю связанную с этим названием историю. Она слушала внимательно, отхлебывала, откусывала от бутерброда, потом вдруг сказала:

– Можешь её забрать себе. И ещё вот эту.

Она поставила чашку на телевизор, полезла в шкаф, где у неё хранились запасы ниток, иголок, пуговиц – напоминание о своем портняжестве и моем портвейне – и положила поверх французского романа толстый сиреневый, в серебре том. Это был «Закон Божий».

– Забирай.

Я повертел книжки в руках.

– А что ты делала на стадионе?

Она только улыбнулась.

– Там такие ребята. У них всё впереди.

Несколько дней после этого случая прошли нормально. Мама спокойно, без каких-либо возражений выслушала мои увещания насчёт того, что ей опасно отлучаться из дому одной, она может заблудиться, не дай Бог, попасть под машину. Лекарство надо регулярно принимать, иначе ведь она сама знает, что будет «кома». Этого слова мама всегда боялась, с того самого момента, как ей объявили про диабет. Она кивала, показывала флакончик с манинилом, подтверждая, что прекрасно понимает серьёзность положения.

– Ты пойми, Лена весь день на работе, мне тоже иногда надо отлучаться из дому, не могу же я постоянно при тебе находиться надсмотрщиком.

– Я понимаю, сынок, я понимаю, – кивала она с самым искренним видом.

Но всё это было лукавство и хитрость. Как только у неё появлялась возможность, она выбиралась из дому и отправлялась в свои путешествия. Маршруты всё время менялись, и логики никакой в них не было. Однажды я обнаружил её в компании наших скамеечных бабок, но понял, что радоваться не надо, это случайное совпадение, просто дорожки случайно пересеклись.

Когда я её отлавливал в отдалённом дворе, она недовольно морщилась, словно я помешал какому-то важному замыслу, но подчинялась и брела покорно домой, выслушивая мои, с каждым разом всё более резкие проповеди.

– Что ты со мной делаешь, я бегая, выпучив глаза, а тебя, может быть, уже машина переехала. Что, мне вообще нельзя уйти из дому?! Ты пойми, у меня дела, иногда даже важные, я сижу там и трясусь, что там с моей мамочкой! Ты сама посмотри, еле ноги передвигаешь. Когда-нибудь просто свалишься в канаву, ведь всё перерыто! Давай будем вместе гулять, если хочешь, когда я дома!

Иногда мне казалось, что она меня понимает, что я наконец достучался до неё. Она давала мне твёрдые обещания, что не будет больше убредать одна. И взгляд у неё был осмысленный, и она даже рассуждала, что сама, мол, знает – это у неё склероз, вот попьёт она ноотропила, и всё будет хорошо.

И всё повторялось.

– Ну не привязывать же тебя к батарее!

Глаза у неё вдруг наливались слезами, и она совершенно серьёзно просила:

– Не привязывай меня к батарее.

Однажды я искал её особенно долго, изматерился, обследовал гаражи, тылы магазинов, обежал стройку. Заметил почти случайно у входа в детский сад. Она стояла у входной двери с таким видом, как будто на что-то решалась. Мое появление её страшно расстроило.

– Что ты тут делаешь? Пошли домой!

Вместо того сразу же, как всегда, подчиниться и двинуться с виноватым видом за мной, она отвернулась и буркнула:

– Мне надо туда!

– Зачем?

– Мне надо туда!

– Это детский сад! – В голове у меня что только ни мелькало, может, тут болезненно извратившаяся мечта о внуке. Сколько она меня умоляла, сколько вздыхала по этому поводу.

– Это детский сад. Что тебе надо в детском саду? Впала в детство?! – я произнёс последние слова с гнусоватой издёвкой в голосе, в ответ мгновенно поднялась волна жгучей жалости, но раздражение при этом никуда не делось. Сквозь эту путаницу чувств я не сразу понял, что она мне сказала.

– Там никого от России нет, – вдруг твёрдо произнесла она.

– Чего, чего?

– Там никого от России нет. Не проследили.

Ах, вот оно что! У меня из горла вылетел дурной смешок.

– Там что ООН, да? Наши забыли послать делегацию, да?! И ты решила своей грудью закрыть амбразуру. Ну так открывай дверь, заходи! Чего ты ждёшь? От России там никого нет, а ты тут топчешься.

– Я волнуюсь.

– Что, что?!

– Это очень ответственно.

Я оглянулся по сторонам, не видит ли кто этого гомерического эпизода.

– Мамочка, я тебя очень прошу, пойдём отсюда. Это детский сад, – почти заскулил я.

– Сам ты детский сад, – твёрдо сказала Идея Алексеевна, и в её профиле появилось что-то отрешенное.

– Ну хватит! – заорал я и, схватив за предплечье, потащил за собой. Больше всего боялся, что она будет активно сопротивляться, и тогда семейная сцена примет совсем уж жуткую и позорную форму. Нет, пошла, но с таким видом, что осталась при своем мнении о смысле происходящего и сейчас просто подчиняется грубой силе.

По дороге я ещё что-то говорил, но чем дальше, тем сильнее крепло убеждение, что все мои слова вылетают у неё из того же уха, в которое влетели. Голова матери казалась чем-то тёмным, абсолютно непроницаемым.

Тамара Карповна, сидевшая на скамейке, поинтересовалась своим бессмысленно-надменным тоном, когда мы проходили мимо:

– Ну что, Идея, погуляла?

Так, заявил я жене вечером, «придётся её запирать, когда мы уходим». Поскольку оба замка во входной двери были устроены так, что их всегда можно было открыть изнутри, а ждать, когда явится слесарь и врежет такой, что можно запереть снаружи и забрать с собой ключ, времени никак не было, я утром сбежал в хозяйственный и купил там небольшой навесной замочек. Он выглядел не слишком-то надежным, но покупать настоящий, сарайный мне было стыдно. Большой замок был бы свидетельством того, что я признал маму по-настоящему рехнувшейся. Маленьким аккуратненьким замочком я отчасти тешил свою интеллигентность, отчасти символизировал надежду, что всё ещё обойдётся. Временами ведь она совершенно нормальна. Как я закрывал его! Тайком, прислушиваясь, как взломщик – не спускается ли кто-нибудь сверху по лестнице, застанет меня за этим диким занятием. Мне мучительно хотелось чем-нибудь прикрыть это запорное устройство, так же, как хочется прикрыть свой срам.

Когда я бежал к метро, мне встретилась возле почты девушка из конторы, та, что предлагала зайти к ней. Я криво улыбнулся, давая понять, что помню – между нами имеются некие отношения.

– Почему вы не заходите? – серьёзно спросила она.

Ну что я ей мог ответить, мне было очень некогда и совершенно не до того.

– Ну-у, я...

– У вас за квартиру не плачено четыре месяца. И пеня.

Ах, вот оно в чём дело. Всеми расчётами с государством у нас занималась мама, и я настолько привык, что с этой стороны у нас всё нормально... и потом, я часто видел, что она стоит у окна с очками на носу и ворошит эти жировки. Даже в голову не пришло, что после того случая с десяткой...

День этот прошёл обычным порядком. Два раза я звонил домой, и мама отвечала мне спокойным голосом и вполне рассудительно. Я пытался по разговору понять, пробовала ли она уже выйти из квартиры, не обижает ли её тот факт, что она оставлена под домашним арестом. Вроде бы всё было в порядке.

В одной редакции, куда я забежал за вёрсткой, завязался за чаем интересный разговор, что редкость, потому что интересные разговоры в редакциях завязываются обычно под водку. Речь шла о сталинских зарубежных гостях в 30-е годы. Фейхтвангер, Жид и т.п. Для чего они были нужны Сталину, понятно. Рупора для пропаганды за границей. А их-то что тянуло, не жирный же приём, не тщеславие, которое тешит встреча с лидером страны. Так думал один собеседник. Другой считал, что, скорее, любопытство. Всякий, более-менее подлинный художник неизбежно антибуржуазен. Он мировоззренчески задыхается в мире капитала, чистогана и прочего барыша. Он продаёт рукопись буржую-издателю и страшно боится, что при этом продаёт незаметно и своё вдохновение. Он мечтает о мире, где не всё продается за деньги. И вдруг ему сообщают, что есть целая страна, и огромная, где впервые в земной истории построено общество, в котором не деньги во главе угла. Конечно, надо ехать смотреть, щупать. Так что симпатии западной интеллигенции к Советскому Союзу были вполне искренни. Мир безденежья в хорошем смысле – это явленное чудо. Страна Советов не столько навязывала себя, сколько была подлинно привлекательна. И не только в 30-е, но и в 50-е. Я в этот момент читал роман Льюиса «Разговор в «Соборе», и там были выведены студенты Лимского университета времён нашей оттепели, они рассуждали, в частности, о литературе. Один заявляет: я только что прочёл «Процесс» Кафки, а другой отвечает, а я сейчас читаю «Как закалялась сталь», и все хором кричат, что Островский, конечно, намного сильнее. Кто-то объявляет, что в кинотеатре на окраине города идёт советский фильм, все тут же срываются в культпоход. Просто скандал в Лиме.

После третьей чашки я почувствовал какую-то внутреннюю неловкость. Ах, да, я тут о Фейхтвангере, а там у меня мать под замком. Впрочем, если вдуматься, она имеет прямейшее отношение к этому разговору. Ленин лишь собирался расстаться с идеей денег, а моей мамуле это удалось в реальности. Когда она их презирала, то всё же была от них в зависимости, а теперь, просто перестав понимать, что это такое, полностью освободилась. Кто-то утверждал, что деньги в нашем мире некоторым образом выполняют роль Святого Духа. Проникают все, всему дают меру, принимают участие в любом деле, даже мысль извивается в магнитном поле золотого слитка. Современный человек не может существовать вне мира финансовых условностей. Фигня, могу утверждать уверенно, ибо практика – критерий истины. Мой практический опыт доказывает, что, даже полностью выпав из границ денежных условностей, иные люди продолжают жить, в общем-то, человеческой жизнью. Вот моя старушка уже четыре почти месяца не знает, как соотносится буханка хлеба с надписями на денежных бумажках. Скоро она забудет, если уже не забыла, что эти бумажки вообще имеют какое-то значение. Да, точно, я вспомнил, как она получает пенсию – ей приносят на дом. «Пересчитайте, пересчитайте», – просит её почтальонша, а Алексеевна только загадочно улыбается. Она перестала понимать смысл этой процедуры. И что моя мама по-прежнему член семьи, избиратель и кому-то друг-собеседник. Хотя бы товарищу Ногину.

Направляясь быстрым шагом от метро к дому, я с нехорошим, подгрязнённым неуместной иронией интересом додумывал эту мысль. Хотя и умозрительно, но я переводил свою мать в подопытный статус. Вместо того чтобы просто жалеть её на всю глубину открывшихся обстоятельств, я чего-то умственно измерял, сравнивал, ставил рядом с ней Фейхтвангера. Но человек что ли так устроен, что в нём автономно могут работать сразу несколько систем, и жалеющая, и оценивающая. Наверно по-хорошему, должна быть иерархия, только люди так до сих пор не договорились, кто же должен быть на вершине. Вроде бы правильнее всего, когда наверху ум, он всё устроит, даст положенное место и направление всякому естественному чувству и душевному движению. Только вот никак не выходит.

И по поводу иронии... В тот момент конкретно я об этом не размышлял, но не будет больше удобного места, чтобы об этом упомянуть. Зря я на неё кошусь, на иронию, отпихиваю к самому порогу. Она ведь вот отчего происходила. Я в те дни ни на одну секунду по-настоящему не верил, что мама в каком-то обозримом будущем умрёт. Только абстрактно – все смертны, значит, и Идея Алексеевна смертна. В детстве ведь довольно часто просыпался где-нибудь в бараке, общежитии и прислушивался – дышит ли? И очень отчётливо, до тошноты страшно представлял: она умерла! А вот когда ей уже было за семьдесят,

с диабетом, с дурной головой, она казалась мне совершенно неотъемлемой, данной мне в постоянное присутствие. Я как животное жил абсолютно без понимания, что она очень даже легко может скончаться. И, значит, был не способен по-настоящему её жалеть. И эта ирония была проявлением нежелания. Когда она уже рвала на ленточки свои простыни, а Ленка уже тайком хлопотала насчёт места на кладбище, я всё пытался вышучивать её, когда она выкидывала что-нибудь наподобие: «Там от России никого нет». Орал на неё, сердился даже и, что самое фантастичное – обижался, когда она не сдерживала слова, которого в принципе уже не могла сдержать.

Войдя в подъезд, я испугался. Ещё ничего не увидев, понял – произошло что-то чудовищное.

Мой маленький замок был сорван, меня как будто полоснуло двойной плетью ужаса и стыда. Но у меня не было времени для чувств, я заметил, что дверь чуть приоткрыта, и из-за неё доносятся некие звуки. Явно чужие. Ограбление! Буквально накануне я смотрел по телевизору передачу, которая учила, как нужно вести себя в такой ситуации. Ни в коем случае нельзя входить внутрь, надо звать соседей, милицию, кричать «пожар»! И я осторожно потянул на себя створку двери. В прихожей стояли две женщины. Одна пожилая, другая молодая. Обе невысокие и без какого-либо разбойного в облике. Увидев меня, они даже, кажется, смутились.

– Ой, здравствуйте, – сказала молодая. – Извините, мы...

– Мама, ты где? – крикнул я через их головы в глубину квартиры.

– Вы знаете, тут такое дело... – Молодая, явно испытывая чувство неловкости, пыталась начать объяснения. Я шумно, почти угрожающе захлопнул дверь.

За спинами женщин появился молодой мужчина, нет, парень, лет восемнадцати.

– Хорошо, что вы пришли, – с явным облегчением сказал он.

– Мама! – крикнул я и, почуяв, что ответа не получу, решительно шагнул внутрь, раздвигая руками непонятных женщин. Парень сам отскочил с моей дороги. В маминой комнате никого не было. И был раскрыт старый платяной шкаф, и из него вывернуты его матерчатые внутренности. Обувь, старые простыни, подушка без наволочки. Сумка со старыми бумажками, письмами. Всё-таки, наверно, воры! Я резко обернулся и схватил парня за предплечье, он виновато улыбался, явно не собираясь никак сопротивляться.

– Где она?

– Нас попросил Арсений Васильевич...

– Какой Арсений Васильевич! Что ты несёшь. Что тут происходит?

Тут сбоку в нервный наш разговор влезла молодая и затараторила с огромной скоростью.

– Вы, конечно, извините, я не хотела, но так получилось.

– Кто вы такие?

– Вы знаете, это фрау Ремер.

– Какая фрау Ремер? Причем здесь фрау Ремер?!

Старушка радостно и бодро закивала седой, хорошо завитой головой, подтверждая, что она фрау Ремер, и даже выказывая радость по поводу своего здесь присутствия.

Я посмотрел на парня, на старуху, прошёл по коридору во вторую комнату, в третью, на кухню. Остановился в дверях кухни, развернулся и проревел, глядя на этих странных троих:

– Где моя мать?

На что молоденькая девица тут же ответила:

– Мы её тоже ищем. Вот Фрау Ремер специально приехала. Специально, чтобы... у неё письмо.

– Какое ещё письмо?

Наконец я сообразил, что седая старушка – немка, а эта молодая, говорливая при ней, наверное, переводчица. Вот она ей что-то прошептала на ухо, и старуха полезла в сумочку и охотно извлекла на свет сложенный вдвое лист бумаги. Но тут вмешался парень.

– Нас попросил Арсений Васильевич, вы его знаете – Ногин.

– Не знаю я никакого Ногина.

– Вот посмотрите, – переводчица совала мне листок в руки, – посмотрите. Фрау Ремер получила это письмо.

Я зачем-то взял листок в руки.

– Арсений Васильевич попросил нас помочь Идее Алексеевне.

– Да, да, письмо от Идеи Алексеевны. Посмотрите, это её рука?

Я развернул лист и сразу узнал крупные округлые буквы маминого почерка, текст был написан не по-русски, но в почерке ошибиться было невозможно.

– Арсений Васильевич сказал, что Идею Алексеевну по ошибке заперли.

Меня мелко затосило от этих слов.

Переводчица выхватила листок из моих рук.

– Письмо написано вроде бы по-немецки, но далеко не все слова можно понять. Только отдельные,

даже меньшинство. Фрау Ремер купила тур в Москву и попросила меня помочь отвезти её по адресу на конверте.

– Идея Алексеевна позвонила Арсению Васильевичу, что ей срочно нужно к врачу, у неё диабет, вы же знаете!

– Знаю.

– Это же нельзя без лекарств, может быть очень плохо. А вы забыли и закрыли...

– Фрау Ремер хотела узнать, что же в этом письме. У неё все мысли были этим заняты. Два года. Она понимает только отдельные слова. Очень тяжёлые слова, очень, даже, можно сказать, нехорошие слова: «Без объявления», «фашисты», «убийцы», «города и сёла», «огонь, кровь», «Красная армия», «смерть оккупантам!», «уничтожили!» «победа!»

– Когда мы пришли, Идея Алексеевна сказала через дверь, что надо сломать замок, и Арсений Васильевич нам тоже сказал, что надо сломать.

Я сел на стул посреди маминной комнаты.

– Так это тот Ногин, который Ногин? Коммунист?

– Отец фрау Ремер не был фашистом, и сама фрау Ремер не была в «Гитлерюгенде». Она от всей души отправляла посылку.

От всей этой словесной мути, наползавшей на меня, хотелось завывать, чтобы хоть как-то прояснить голову, я ею помотал. На глаза мне снова попался шкаф с вывернутыми внутренностями. Я вскочил и снова схватил парня за плечо.

– Меня зовут Анатолий, – зачем-то объявил он.

– Где она?

– Идея Алексеевна? – переспросил понятливый друг полковника Ногина.

– Да, да, Идея Алексеевна, где она?

И тут неожиданно прорезался голос немецкой туристки, не членки «Гитлерюгенда». Она оскалила слишком хорошо оснащённый зубами рот, и оттуда донеслось.

– Я, я, Иди, Иди. Гитлер капут.

– Так она в поликлинике. У врача. Я же говорил. И Сашка с ней. Петраков.

– Понятно. Слушай, ты присмотри тут, Анатолий, я побегу, хоть там и Петраков.

– Послушайте! – крикнула мне вслед переводчица.

Я выскочил из дому. Стройности в мыслях было мало. Я нервно хрюкал от этой гомерической истории с любопытной немкой и восхищался изворотливостью своей якобы ополоумевшей мамочки. Ну не блестящую ли операцию провернула старушка! А полковник, может, он в сговоре со своей преемницей? Союз склеротиков. Или она его обманула напускной нормальностью?

У нас тут всё близко. Через две минуты я вбежал в холл поликлиники. У кабинета эндокринолога сидела тоскливая очередь. Беглой Идеи Алексеевны среди сидящих не было. Бормоча «мне только спросить, мне только спросить», я приоткрыл дверь в кабинет – у врачебного стола сидела старуха, но чужая.

– Скажите...

– Закройте дверь!

– Я только...

– Немедленно закройте дверь!!!

Да что я в самом деле, ни к какому врачу она, конечно, не пошла. Рванула в поход по окрестным дворам, и это ещё хорошо, если так, побегаю, отыщу. И будет ей настоящий амбарный замок. А если... меня передернуло от ужаса. Я представил, как она забирается в троллейбус, и тот её везёт, везёт и выплёвывает на какой-нибудь конечной остановке, и она бродит, выпучив честные глаза в поисках зала заседаний Совета Безопасности ООН. Шайка пьяной молодёжи издевательски гогочет, отхлебывая «клинское»... Вспомнился старинный детский стыд за мать. Там тоже была молодёжь, нагота. Только нагота теперь совсем другая, но стыд ещё более жгучий. Есть на свете что-нибудь более уязвимо, чем одинокая, полубезумная старуха, одержимая... Кстати, почему одинокая? Где обещанный Петраков?! Надо понимать, верный ногинский нукер доверенную ему партбабульку не бросит.

Я выбрел из поликлиники, остановился на берегу Стромынки, пытаюсь сообразить, что тут надобно предпринять и с чего начинать.

К противоположной стороне улицы выходил низким железным забором стадион имени братьев Знаменских. И что-то меня внутренне толкнуло, когда я понял, что это именно он. Стадион! Что значит стадион? Да, да, именно стадион! Я всмотрелся и, конечно же... Рванул наперерез потоку машин. Перемахнул через оградку, выбежал на гудроновую дорожку, опоясывающую футбольное поле с измождённым газоном. И остановился. Навстречу мне двигалась целая процессия. Впереди, в центре – она, беглая мама. Одета дико – старое демисезонное пальто. С трудом переставляет ноги в растоптанных зимних войлочных ботах с расстёгнутыми молниями. Пегие короткие волосёнки растрёпано торчат, но взгляд твёрд, губы сосредоточенно сжаты. Двое молодых людей осторожно и при этом надёжно держат её под

руки, на лице ни тени усмешки, а в тылу целая колонна озабоченных ребятишек и ребят в спортивной форме. Каким-то образом странно одетая старуха заставила их прервать тренировку, построила в колонну и увлекла за собой. И, надо же, оделась по-зимнему. Для этапа? Что она, в Казанскую тюрьму или в светлое будущее собралась вести. Но ни одного смеющегося. Как будто эти голоногие тинейджеры приняли планы старушки всерьёз.

Подбежав, я увидел у мамы на затылке огромную багровую шишку, которую были не в состоянии скрыть редкие волосы. Поняв, что я родственник, «хлопцы» и «девчата» окружили нас и начали поперебой объяснять мне, что тут произошло. Оказывается, они «занимались», а бабушка «вдруг вышла», «подняла руки», а потом «как задом упадёт!»

– Всё, спасибо, спасибо, извините.

Я взял маму под руку и попробовал сдвинуть с места, и удалось мне это сделать с большим трудом, как будто внутри её тела появился твёрдый, тяжёлый каркас. Она напряглась и всерьёз сопротивлялась.

– Мамочка, пошли! – умоляюще зашептал я ей в ухо, прикрытое потной пегой прядью. Участливое отношение окружающих к нашей идиотской семейной ситуации казалось мне временным чудом. Сейчас они опомнятся и поймут, как это смешно и позорно.

– Мамочка, пошли!

Сделали несколько шагов. Идея Алексеевна повернула голову назад, насколько позволяла закованная шея, и попросила чужим голосом.

– Освободите меня, товарищи.

Спортсмены мялись на месте.

– Товарищи, на помощь! – совершенно невообразимый, чужой, гнусный, гнусавый голос вытекал из рта моей матери.

– Ты что, старая сволочь, ты что задумала?! – почти беззвучно, задыхаясь от рвущегося изнутри воздуха, шептал я.

– Это сын, сын, – сказали сзади с сомнением. Наверное, мифический Петраков.

– Ха-ха-ха, – театрально усмехнулась мама, но слова эти на неё как-то подействовали, и она стала сопротивляться меньше. Мы поползли по направлению к дому. Я чувствовал, что мама всё время хочет что-то сказать, но у неё просто не хватает сил, воздушный поток, с хрипом гуляющий в носоглотке, не подчиняется. Уже на самом подходе к дому она сообразила, что надо делать, чтобы добыть силы для заявления. Она остановилась.

– Ты не сын.

– Да, да, я не сын, я негодяй, я пьянь, но только пошли домой!

Скамьи у подъезда были заполнены лучше, чем трибуны Колизея во время гладиаторского боя – все регулярные старухи, алкаши, приличные соседи, в другое время пробегающие с сумками мимо скамеек, даже фрау Ремер с переводчицей. Эти двадцать метров дались нам с мамулей нелегко. Она хрипела, кривила то ли в презрительной улыбке, то ли под действием крепнущего пареза рот и рывками двигала ноги, как каменная статуя, которую щекочит пониже спины. Я обливался потом и яростью. Не смотрел по сторонам. Все идиотические советы – надо вызвать «скорую» – висели поодаль, никто не смел к нам приближаться. Не стала соваться со своей немецкой правдой и интуристка. Впрочем, я думаю, она увидела достаточно, чтобы сделать выгодные для себя выводы.

Только бронированная Тамара Карповна спросила – на фоне общего молчания её слова прозвучали особенно громко:

– Ты что, помирать собралась... Алексеевна?

Потом постель, врачи, две недели почти полного беспамятства. В общем, всё неинтересно. Суета, огромные памперсы.

А кончина была тихой и мирной. Почти всё время я сидел дома с нею один. Читал, смотрел в присмиревший, что-то бормочущий шепотом телевизор. Я специально держал его включенным, мне казалось, что мама следит за тем, что происходит на экране. И вот однажды, когда шёл какой-то документальный фильм из советской жизни и показывали веселую праздничную колонну, деревянный дурак вдруг взревел:

– ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ! День всемирной солидарности трудящихся.

Мама неожиданно улыбнулась и тихо прошептала:

– Моя Дуся приехала.

И тут же умерла.

Георгий КАЮРОВ

Эй! Ганна

Рассказ

Ночную прохладу сменил тёплый, ясный день. Мартовское солнце грело по-весеннему. Тротуары успели обсохнуть. Дворники скалывали лёд и сгребали в кучи. Из водосточных труб текла вода от таявшего на крышах снега. Иногда со страшным шумом спускался по трубам намёрзший лёд. Под влиянием тёплых солнечных лучей он обтаивал, и из труб на тротуар выскакивали огромные ледышки, то скатываясь под ноги пешеходов, то тут же рассыпаясь на мелкие куски.

Ганна Митрофановна сидела у окна и опухшими, покрасневшими глазами пялилась на улицу. Соседи уж какой день могли наблюдать, как её голова подолгу раскачивалась в окне первого этажа, а затем опускалась на руки, чтобы ссутулившаяся спина задрожала новым приступом рыданий. Не дожив одного дня до золотой свадьбы, умер супруг Ганны Митрофановны, Богдан Ильич Ажамчиков. С кладбища вдова вернулась сразу домой, обошла квартиру, оглядывая пустыми глазами, и, наткнувшись на первый попавшийся стул у окна, опустилась на него и вот уже третий день не вставала. Несколько раз заходила Зинаида, молодящаяся, предпенсионного возраста соседка. Глаза у неё тоже припухли от слёз, как-никак с Ажамчиковыми прожили дверь в дверь более двадцати лет, а с самим Богданом Ильичём работали на одном заводе ещё дольше. Она пыталась разговаривать, успокоить вдову, но ничего не получалось. Раздосадованная молчанием обезумевшей от горя женщины, соседка возвращалась к себе домой, готовила еду, заваривала чай – всё это приносила и выставляла перед Ганной Митрофановной на подоконник и тихо уходила, чтобы вернуться время спустя и убрать остывшую еду, к которой не притрагивались. К концу второго дня Зинаида, разглядывая сизую плёнку на холодном чае, равнодушно проговорила:

– Не буду больше готовить, чего продукты переводить, – и, немного помолчав, тихо добавила: – И муж ругается.

Ганна Митрофановна медленно повела головой в её сторону, и соседка увидела безжизненный взгляд, наполняющийся новыми слезами, и, едва она успела схватить вдову, та повалилась на пол, выбросив из груди рыдающий рык.

– Ну что же это такое? – воскликнула Зинаида. – Разве можно так?! – И, еле-еле справляясь с весом обессиленного тела, усадила Ганну Митрофановну обратно на стул. В отличие от покойного супруга, Ганна Митрофановна была высока ростом, тощая и с крупными чертами лица, энергическим голосом и большими руками и ногами. Со стороны, создавалось впечатление, что это была нескладная, грубая женщина, но те, кому доводилось близко с нею общаться, отмечали кроткий и приветливый характер и ловкие движения. Вроде никто ничего не заметил, а она уже успела всё сделать.

– Он назвал меня – Ганна, – сквозь приступ грудного рыдания одними губами проговорила вдова, обратив на соседку беспомощный взгляд.

– Что? – не поняла Зинаида, но ухватила за появившуюся надежду разговаривать и тем самым немного отвлечь убивающуюся горем женщину. – Говорите, выговоритесь, Ганна Митрофановна, так легче станет.

Губы Ганны Митрофановны продолжали что-то шептать, и чтобы расслышать, Зинаида наклонилась к самому её лицу:

– Что-то хотите, Ганна Митрофановна? Может, водички? Так я мигом?

Соседка собралась за водой на кухню, но продолжала гладить вдову по спине, убеждаясь, что та сидит крепко и без присмотра не свалится. Ганна Митрофановна с отрешённым взглядом уткнулась лбом на руки, опираясь о подоконник, и раскачивалась в такт всхлипываниям. Удостоверившись, что женщину можно оставить одну, соседка удалилась за водой. На кухне она внимательно осмотрела всё вокруг. Пооткрывала шкафчики, отыскивая чашку или стакан. От зоркого женского взгляда не ускользнули и некоторые детали обихода. Всюду царил порядок. В шкафах стояла посуда, словно из магазина только что привезённая. В холодильнике все продукты упакованы и разложены по полкам. Вообще, вся обстановка никак не выдавала, что совсем недавно в этой квартире были похороны. Соседка даже спохватилась – как же готовили для поминок? Но тут же уgomилась – ведь покойный Богдан Ильич пожелал, чтобы гроб его стоял на заводе, на котором он проработал без малого пятьдесят пять лет. Руководство завода неохотно восприняло последнюю волю усопшего, но и не стало препятствовать, даже организовало поминки, лишь бы быстрее со всем покончить. Так всё и получилось – из морга на завод, а оттуда через день напрямиком на кладбище. Собравшихся попрощаться со старейшим мастером инструментального цеха ожидал скромный обед в заводской столовой. Все расходы профком завода взял на свой счёт.

– И то верно, – соглашаясь, проговорила соседка вслух, и на её лице появилась горделивая складка за Богдана Ильича. Тут же на память пришёл прошлогодний случай, и от нахлынувшего удовольствия Зинаида даже присела на край стула, подперев голову пухлой ладошкой. Богдана Ильича в очередной раз провожали на пенсию. Зинаида помнила ещё двое таких проводов. Каждый раз их организовывали после появления очередного постановления правительства о реструктуризации производства, и, конечно, главным в этой самой реструктуризации было увольнение работающих пенсионеров. Проводы устроили прямо в цехе. Собрали все смены инструментального цеха, явился профком в полном составе и гене-

ральный директор с замом. Несколько пенсионеров облачили в костюмы. Богдана Ильича поставили в центр. Что было всеми встречено улыбками и шутками. Он же дружелюбно воспринимал иронию коллег, понимая, что и правда выглядит комично – Богдан Ильич был невысокого роста и в строю с остальными пенсионерами смотрелся, как седой пятиклассник в кепке. Богдан Ильич никогда не снимал своей кепки, потому и не любил ходить по начальственным кабинетам.

– Там у них головной прибор надо снимать, – лукаво подмигивая, объяснял он. – А у меня руки мастеровые, всегда грязные, боюсь кепку замарать, – в этом месте он всегда выдерживал паузу и важно добавлял: – Жена заругает.

Много говорили, вручили всем грамоты и денежные премии. Дали слово и виновникам торжества. В памяти Зинаиды яркой картинкой предстали события того дня – всё как наяву. Она даже умиленно заулыбалась, как тогда. Ведь действительно получилось смешно. Когда подошла очередь выступать Богдану Ильичу, он выступил на середину, подмигнул коллегам, те тут же передали поллитровку пшеничной водки и гранёный стакан.

– Вот и реквизит, – под общий смех объявил Богдан Ильич, принимая бутылку и стакан. – Что тут выступать, товарищ директор. Это моим коллегам впервой провожаться, а я для вас, так сказать, за-всегда этой церемонии. И снова без подарочного костюма. Ваш профком снова мне костюм на три размера больше дал.

Генеральный директор грозно посмотрел в сторону профкома, выискивая глазами председателя, а тот только руками развёл, и чтобы хоть как-то оправдаться, провёл себе по груди, показывая малый рост пенсионера.

– Я вам лучше на память подарок сделаю, – продолжал Богдан Ильич, не обращая внимания на немое разбирательство руководства. Он свинтил пробку и налил полный стакан. Медленно выпил, налил следующий, его так же опорожнил и, смачно вытерев рот рукавом, скомандовал:

– Ну-ка, мужики, расступись!

Важной походкой Богдан Ильич подошёл к токарному станку. Ловко вставил бутылку в патрон и, прежде чем запустить станок, ласково погладил его по станине:

– Давай, дружок, покажем.

– Ильич! Ты ему ещё сахарку дай, – выкрикнул кто-то из толпы и получил поддержку в виде порции одобрительного гоготания.

Пока рабочие обменивались шутками, а чиновники перешёптывались, нетерпеливо топчась на месте, Богдан Ильич орудовал у станка. Зинаида не помнит, сколько прошло времени, но всё закончилось очень быстро. Заглох станок, а Богдан Ильич повернулся к чиновным мужам с двумя половинками бутылки в распростёртых руках. Наступила немая пауза, которую Богдан Ильич выдержал как настоящий фокусник. Медленно соединяя обе половинки, он закрутил их и, подняв над головой, продемонстрировал всем целую бутылку. Окружающие от охватившего восторга стояли не шелохнувшись. Затем он медленно снова раскрутил бутылку и повертел в руках две стеклянные половинки. Оглядывая восторженно-удивлённые взгляды окружающих, Богдан Ильич хитро улыбнулся и снова закрутил половинки, собирая их в целую бутылку. В царившей тишине даже был слышен скрежет стеклянной резьбы. И когда мастер снова поднял бутылку над головой, рабочие громыхнули всеобщим – «Ура!» Озадачились и руководители. Генеральный директор не смог удержаться, чтобы не почесать затылок, а стоящие рядом с ним рабочие услышали в адрес зама недовольное директорское:

– Ты же убеждал, что этот станок ни на что не годен и надо его менять?!

– Вот вам мой подарок, – довольный произведённым эффектом, Богдан Ильич торжественно приподнёс генеральному директору бутылку: – И пусть кто-то из ваших молодых повторит.

Закончилось всё тем, что оставили Богдана Ильича на производстве в виде исключения. От воспоминаний у Зинаиды накатались слёзы. Это были слёзы и гордости за соседа, и скорби за то, что такого человека больше нет, а может, оттого, что в следующем году выпроводят её саму на пенсию и не будет никакого исключения для неё. Обтирая слёзы, Зинаида скомкала руками лицо и громко всхлипнула. За окном грохотнул ссыпающийся по трубам водостоков лёд. Послышались голоса возмущённых соседок и мужская ругань в адрес дворников. Зинаида выглянула во двор, и снова встал перед глазами Богдан Ильич – маленький, высушенный жизнью и мертвенно-жёлтый с закрытыми, не моргающими веками. Он словно приютился в маленьком, совсем детских размеров гробу. Снова полились у Зинаиды слёзы. Точно так же, как только что грохотнул обсыпающийся из труб лёд, грохотали об крышку мёрзлые комья, сбрасываемые в могилу. Зинаида тоже бросила свою горсть и задержалась у края могилы – снова удивившись маленьким размерам гроба. Громко разговаривающие во дворе женщины заметили Зинаиду в окне и помахали ей. Она растерянно обвела взглядом двор, затем кухню и засуетилась скрыться с глаз долой.

Неся кружку с водой, Зинаида всё-таки заглянула в спальню и задержалась, с тревожным интересом разглядывая утварь. Две кровати, словно близнецы, стояли у противоположных стен напротив друг друга. Рядом с каждой – тумбочка, коврик и пара тапочек. Кровать Ганны Митрофановны можно определить по нескольким фотографиям в деревянных рамках на тумбочке. На них изображены двое маленьких детей: мальчик – чуть больше года и девочка – совсем новорождённая. Фотографии были старенькие, изжелтевшие.

Ходили разные слухи о детях Ажамчиковых, но Зинаида знала точно – оба умерли в малолетнем возрасте, были ещё дети, но мёртворождённые. Ни Ганна Митрофановна, ни Богдан Ильич никогда и ни с кем не откровенничали по этому поводу. Посередине второй кровати на покрывале проступали две вмятины – одна широкая, а другая – поменьше, по-видимому, хозяин присел на короткое время и, вставая, опёрся рукой.

– Всё бегом, всё бегом, и умер на бегу. Сердце остановилось, а рядом никого не оказалось, – прошептали губы Зинаиды.

С тяжёлым сердцем закрывала дверь в спальню Зинаида. Только сейчас её вдруг осенило, что за многие годы, а живут они в этом доме и на одной лестничной площадке более двадцати лет – вместе получали ордера, как новосёлы – они ни разу не ходили друг к другу в гости. От этой мысли Зинаида даже остановилась, припоминая, кто же из соседей дружил семьями с Ажамчиковыми?! И не смогла припомнить. С новым, доселе неизвестным ощущением вошла в зал Зинаида и как-то по-новому посмотрела на Ганну Митрофановну.

– Водички принесла, Ганночка, – с неожиданной теплотой и нежностью проговорила Зинаида. Ганна Митрофановна как обезумевшая всё раскачивалась и монотонно повторяла:

– Он назвал меня Ганной. Он назвал меня Ганной...

– Конечно, Ганной, – обняв соседку, соглашалась Зинаида, раскачиваясь с той в такт. – Конечно, Ганной. Выпей водички, – и стала помогать Ганне Митрофановне отпить немного.

Сделав глоток, Ганна Митрофановна отстранилась от объятий соседки и пристально посмотрела ей в глаза.

– Ты чего? – насторожилась Зинаида.

– Не понимаешь, – с накатывающимся новым приступом рыданий проговорила Ганна Митрофановна.

– Он перед смертью назвал меня Ганной.

– Ну что же тут такого?! – начала сетовать соседка. – Как же он мог назвать тебя, конечно, Ганной?!

– Не по-о-ни-имает, – отодвигая руку Зинаиды и едва сдерживая рыдания, а слёзы уже лились ручьями, проговорила кривыми губами Ганна Митрофановна. – Он умер с моим именем – Ганна.

– Боже ты мой! – воскликнула, раздражаясь, Зинаида. – Всю жизнь звал Ганна, а перед смертью возбраняется? – Зинаида подошла к двери, заглядывая на своё отражение, чтобы оправить волосы на голове.

– Не-е-е, не звал, – едва смогла внятно проговорить Ганна Митрофановна и разрыдалась что было мочи.

– Господи! Что же это такое? – воскликнула Зинаида, а во взгляде её появилось напряжение: – Как же он мог звать, если не Ганной? – попыталась сохранить равнодушный тон Зинаида, но внимательный взгляд цепко следил за рыдающей вдовой. Ганна Митрофановна уже успела выплакать всё, что накопилось, и, справляясь с приступами, выдохнула:

– Эй!

Зинаида ожидала услышать всё что угодно и потому с нервной силой скомкала на груди кофту, но к такому не была готова.

– Ка-ак? – удивлённо переспросила она.

– Эй! – совсем справившись с рыданиями и прямо взглянув в глаза соседке, твёрдо повторила Ганна Митрофановна.

Обе женщины смотрели друг на друга, не двигаясь с места и боясь пошевелиться.

– А когда познакомились? – ошарашенная откровением вдовы, едва смогла выговорить Зинаида.

– И познакомились – Эй! – Ганна Митрофановна перевела дыхание и тихо заговорила, теребя складки подола. – В сорок шестом мать отправила меня в Запорожье к родственникам. У нас на Полтавщине был страшный голод. Вспоминать страшно – мор повсюду. Позже мы узнали, что все вымерли. Трупы находили везде – в домах, во дворах, прямо на улицах падали люди. Мор губил всех, не разбирая – стариков, детей... Погубил голод Полтавщину, – Ганна Митрофановна перевела дух и продолжила: – Родственники меня не приняли, тоже голод лютвал. Куда ещё один рот принимать, – Ганна Митрофановна снова тяжело, вздохнула перевела дыхание. – Бреду я по Запорожью в сторону речки. Решила топиться. Молю бога, чтобы дал сил добрести, не свалиться на улице. А тут слышу: «Эй! Эй!» Я сначала думала – чудится. Вокруг никого, а поодаль стоит маленький такой в кепке, на меня смотрит и снова говорит: «Эй! Тебе говорю. Давай поженимся». Я худая была тогда – кости да кожа, смотреть не на что. Иду, не останавливаюсь, боюсь – остановлюсь, сил не хватит идти дальше, а он снова: «Эй! Куда идёшь? Давай поженимся. Кормить буду». От слов, что кормить будет, я и остановилась. Меня качает, а я ноги не могу оторвать, сил нет. Он постоял-постоял, посмотрел-посмотрел, повернулся и пошёл прочь, – Ганна Митрофановна снова умолкла, заливаясь тихими, скупыми слезами.

– Вы что же? – ошарашенная услышанным, спросила Зинаида с каким-то скрытым чувством уважения, перейдя на «вы» к сидящей перед нею женщине.

– А что я?! – впервые позволив себе мимолётно усмехнуться, задалась вопросом Ганна Митрофановна больше для себя и оглядела убранство комнаты, как бы давая себе отчёт за прожитые годы: – Поплелась следом.

Александр БАЛТИН



Пропавшие дети

Рассказы

Среди искристо пламенеющего леса, среди языческого хоровода огромных деревьев с целыми ярусами ветвей, среди живого гербария спокойной, мерно-величавой листвы – высокий пенёк, усеянный опятами и обведённый бархатной кромкой мха, казался аналогом в предельном торжественном храме. Пень был трухляв – точно вознесённый из недр земли таинственной мощью, неведомой бродильной силой – готов был уже обратиться в прах, слиться с землёй, которой не уступал и цветом. В полуразваленных корявых структурах, хранивших бесчисленную мелкую жизнь – как экзотические цветы или замершие гномы, толпились нежные бледные грибы. Хрупкие и изящные, с шатко изогнутыми ножками, замшевой кожицей, одеты они были нежным розоватым свечением. Великое их множество расплзалось вверх, вдоль щербатых боков чернеющего развала; скученные, неустойчивые, вздрагивающие, как будто они теснились, напоздали друг на друга – точно колония мха, продолженная от нижних ярусов земли – и глухой отзвук земли таился в их зыбкой плоти.

– Гляди! – захлебнувшись восторгом, жадно выдохнул пятилетний бутуз, и пухлый палец, перепачканный неведомой грязью, замер, указывая в сторону пня. – Сколько их! – басовито гудел он, продолжая раз взятую ноту и мерно наливаясь не столько радостью, сколько предвкушением, волнообразно вздымавшимся из глубин его нутра. – Скорее, скорей, ну скорей же, – торопил он себя влажным шёпотом; трава зашевелилась, мелькая то жёлтым, то сиреневым – в противовес собственным словам бутуз выбирался очень медленно.

Как только он выбрался из пышного тайника кустов и трав, выяснилось, что разговаривал он не сам с собой и не с незримым обитателем леса, существующим только в его воображении: в просвете расступившихся стеблей тотчас появилась крохотная рожица, подвижная и необыкновенно смешная, причём возникла она так быстро, точно широкая спина бутуза только и мешала выбраться ей на свет. Узенькие косички, торчавшие в разные стороны, выдавали в беспокойном мышонке девочку, спешно пропихивавшую «Осторожно!» вдогонку ускользящему бутузу.

– Иди сюда! – не оборачиваясь, кричал он, вплотную подбираясь к пню. Уже почти достигнув его, он запутался в сложных переплетениях травы и упал, весело хохоча, и тотчас поднялся, а в спину ему летела крохотка женской укоризны:

– Говорила тебе, осторожней! Никогда ты не слушаешься!

И бутуз, отирая перепачканные пальчики о жёлтые шорты, бормотал в ответ:

– Кого? Тебя слушаться?! Малявка! – И, быстро подняв румяную физиономию, добавил: – Трусиха!

– И вовсе нет! – возмутилась девочка, и шустрые косички запрыгали в такт мимолётному возмущению. – Сам ты... – и девочка, выбравшись из укрытия, засеменила к пню.

А бутуз уже вовсю обрывал грибы, ломал их прохладную поросль, и они, мягкие, превращались в его ладонях в розовато-серую кашу.

Девочка, присев, очутилась у истоков трещины, возле густого скопления опят, и, запустив обе руки в недра пня, стала снимать грибы целыми пригоршнями.

Бутуз, видя, что сестрёнка опережает его, загудел недовольно: – Отойди! Это я нашёл пенёк! – загудел так, будто желал защитить владения, считаемые своими. В голосе его появилась суровость – суровость, подслушанная у недовольных взрослых, отчитывавших его за разбитую чашку или лишний кусок торта, суровость, усугубляемая обидой – скорее на себя, на свое бессилие противостоять крохотному, суеязющемуся внизу существу.

– Не твой пенёк, не твой, – пищала девочка, теряя крохотные грибы, ломая их и продолжая работу.

Между тем бутуз отвлёкся, обнаружив на пальце какую-то крохотную букашку с тончайшими усиками, и, побросав обломки шляпок и ножек, стал следить за ней, пробиравшейся по тонким канальцам его ладони.

Перестала трудиться и девочка и, не поднимаясь с корточек, спросила, замирая от внезапного, резкого, садкого ужаса:

– А как мы пойдём назад?

Бутуз, стряхнув радужно сверкнувшую букашку, отозвался:

– Не знаю.

Торжественная поляна молчала, переливаясь всем богатством цветового спектра.

– Ну? – безжалостно-тупо произнёс мужчина, закуривая десятую сигарету, и тотчас устыдился неоправданного напора, туго означенного в его голосе.

– Не знаю, не знаю, не знаю, – твердила женщина монотонно, глухо, с тупым, омертвелым отчаянием. – Говорю тебе, я задремала: солнце, духота – разморило, просыпаюсь – их нет.

Она заплакала, прижала ладони к лицу, но сразу отдернула их, потёрла виски – механически, нелепо, будто такой набросок действия мог что-то прояснить. Мужчине показалось, что лицо её плавится, как сахар, и тугое кольцо нежно и люто сдавило ему сердце.

– Ладно, не плачь, – сказал он. – Ну... не плачь, говорю тебе.

Они сидели в машине, было душно, жаркий воздух, мешаясь с сизыми клочьями дыма, колыхался тяжёлым маревом; атакуя неуступчивое стекло, ныли крупные слепни. Сквозь широкий размах лобового стекла яркий лес предстал роскошной панорамой, и каждый вход в него, чернеющий среди деревьев, казалось, вот-вот отдаст пропавших детей.

– Ладно, – сказал мужчина. – Далеко они уйти не могли. Может, спрятались где-то в окрестных кустах и сами выберутся на эту поляну. Возможно, отправились вдоль дороги и находятся сейчас где-то внизу, на пути в деревню. Оставайся здесь, только попробуй не психовать, а я пойду к деревне. – Он попытался обнять женщину, но та отстранилась. – Ну найдём, найдём мы их! Ну?!

Она не отвечала, тупо мотая головой.

– Я пошёл. Жди.

Он выбрался из машины и пошёл по замшелой колее.

Бурая глина, застывшая суммарным отпечатком различных следов, сливалась в непонятный орнамент, мнившийся символом пути и вместе дававший собой этот путь. Мужчина шёл, выкрикивая имена детей, он знал, что рядом находится дорога, по которой они, ничего не предчувствуя, и съехали в лес, и думал – может, стоит выйти на неё, поднять руку, остановить кого-либо из проезжающих, попросить о помощи. И вдруг стало ясно – помощь не придёт, и... что остаётся? Только идти и звать и уповать. Вся прелесть осеннего леса казалась бессмысленной, подавляющей, он шёл, кричал и вспоминал – он вспоминал умильную рожицу бутуза, неловкую ладность его движения, он вспоминал то щемяще-умиленное ощущение, охватывавшее его, когда девочка забиралась к нему на колени, он шёл, выкрикивая их имена, и страх леденил, наползая, душу.

Дети устали. Долгая возня, солнце, страх – всё сливалось в одно – неясное, томящее, клонящее в сон. Бутуз сидел, привалившись к стволу толстого дерева, а девочка спала, положив голову ему на колени. Лес обступал плотной густотой запахов, цветовой массой, лес подавлял, ничего не обещая; бутузу представилась большая кружка молока, сдобный коржик, и тихая тёплая слеза поползла по толстой щеке.

Девочка спала. Он принялся теревить её. Она невнятно бормотала в ответ, пока он не дернул её сильнее, и тогда она вздрогнула, проснулась, посмотрела на него недоумевающе, спросила:

– А где мы?

– Не знаю, – ответил бутуз. – Пойдём куда-нибудь.

Слегка отряхнувшись, они двинулись наугад, пробираясь мелкой травой и тщательно огибая овраги, бутуз сшиб толстый боровик, поднял его, но тут же бросил, потянулся к кусту, чтобы сорвать ягод, но девочка остановила его, и он послушался, и они шли дальше, всё больше уставая, путаясь, пугаясь.

Лес поредел чуть-чуть, и впереди замерцала поляна. Среди этой поляны серел корпус грузовика.

– Смотри, – прошептал бутуз, будто забыв о неведомом пути и наливаясь восторгом – почти таким же, как при виде пня.

Он ускорил шаги, тяжело дыша и размахивая руками. Девочка, ничуть не заинтересованная, последовала за ним, угодила по пути не то в огромную лужу, не то в крохотное болотце, но выбралась и вот уже лезла за братом в разбитую кабину.

Чёрные полудужья на месте отсутствующих колёс зияли, как зевло деревенской печи, дверь, свороченная набок, висела, а содержимое кабины представляло собой неприглядную картину отслужившего механизма: клочья жёлтого поролона свисали из разодранных сидений, а панель управления с выдавленными стёклами и погнутыми стрелками походила на старую карту.

Руль был цел.

Дети устроились на сиденье, и девочка снова стала дремать, теснее прижимаясь к брату, а тот шептал что-то, призывая отца, шептал, уверенный, что их найдут, понимающий, что двигаться дальше у них нет сил.

Скрестив на руле ладони и упав в них лицом, женщина думала: «Неужели, неужели, неужели...» – Слова сливались в долгую, непрерывную линию, она тянулась бесконечно, серея тупостью и страхом. – «Как так могло получиться? Почему со мной? За что?» – И, мелко, нервно, жутко, разрывая линию мысли, перекачивались новые слова: «А вдруг, а вдруг, а вдруг? Никогда...» Хотелось бежать куда-то, кричать, что-то делать, но делать ничего было нельзя, а только ждать – ждать и надеяться и бесконечно изводить себя нелепыми, ничего не объясняющими, не помогающими словами. – «Неужели? А вдруг? За что?..»

Бутуз, принимая к сестре, тоже задрёмывал, потом вздёргивался и опять плыл, уходил в тёплую, тёмную дремоту. Ему хотелось есть, и мерещился – так явно, так отчётливо – стол, накрытый в деревенском доме, бабушка, разделяющая жареную курицу, дымящаяся картошка, в кружке налитое молоко. И опять реальность текла зыбким маревом дрёмы, и опять он выдёргивался из неё лапой страха и сквозь пространство, где было когда-то лобовое стекло грузовика, видел кусочки леса, всё такие же красиво-пёстрые, но уже только пугающие.

...и была тёмная масса сна, пологом накрывшая сознание. Потом её края зашевелились, раздвинулись, превратились в траву, тихонько шуршавшую в опаловых сумерках, и из них – из сумерек этих – вышел большой, знакомый человек, шагавший легко и сильно, шелуша коронки лесных орехов, – вышел отец, такой родной и тёплый, и бутуз рванул вперёд, но за ним рванулась и темнота сна, разлетевшаяся в момент, чтобы он, бутуз, стукнулся лбом о приборную доску и замер, убеждаясь, что никто не идёт...

Чайка над кладбищем

Есть места, где время будто замирает или замедляет ход, и такие понятия, как воля, или внутренняя сила, или целеустремлённость, кажутся пустыми, нелепыми, а сам человек, создавший эти понятия, забывает, что было с ним до прихода сюда, и не думает о том, что будет после.

Возле сильной реки было ветхое кладбище. Клином вторгался в течение реки островок зелёной суши, и на нём живым протестом против движения часов и дней покоилось забытое кладбище за деревянной, чудом сохранившейся церковью, над которой уснуло несколько старых ив.

Было туманное утро ранней осени. Возле реки влажно пахло водою, и чувство реальности отступало перед видом старых крестов.

Миновав лес и поле, человек оказался один на один с церковью, окружённой чахлыми кустами. Кладбища он сразу не заметил. Кресты открывались лишь при приближении к церкви. Возле них пахло ветром, который наполнял собою окрестность, вступая в затейливую игру с действительностью. «Таких церквей сейчас и не встретишь», – подумал он, подходя к ней, и только тогда увидел кладбище, ничем не удивившее его. Дверь церкви была заколочена, но доски разошлись, их было легко оторвать, и из всех щелей, не заросших травой, настороженно-пугающим взглядом смотрела темень. Он отодрал две доски, вошёл в церковь и оказался во времени – или в чистом запахе его, в чистом дыхании метафизики.

Суть церкви сохранилась – запечатанная в сосуде времени, она излучала спокойствие и умиротворение, но казалось, что сияние её не может выдержать душа, покуда вмещённая в тело.

Человек вышел из церкви.

Прямо против неё начинался спуск к реке, чьи свинцовые воды плавно и тихо, будто не совершая никакой работы, ускользали – от взора, яви, кладбища – ускользали, почудилось, в бесконечность, выраженную небесной мощью, неясной властью гигантской надмирной сферы. По ходу реки был ещё один островок, и на нём, точно оправдывая его существование, выросло дерево неразличимой породы и стояло, покачиваясь, споря с ветром, стесняясь своего одиночества, которого не могли разделить даже облака.

Человек спустился к реке. Вдоль берега тянулась тонкая кромка жёлтого, волглого песка, а вдали, там, где уже невозможно было различить, где кончается река и начинается небо – всё сливалось в одну светлую бесконечную массу.

Он поглядел на противоположный берег. Насколько хватало глаз, там была видна только зелёная равнина... Захотелось выкупаться – а вернее, приобщиться к незримому ходу течения, к силам, обеспечивающим бытие водного пространства. Он решил доплыть до островка и коснуться рукой одинокого дерева.

Человек разделся и стал медленно входить в воду. Песок быстро кончался. Вязкая грязь покрывала дно реки – она засасывала, тянула в себя миллионами мягких крохотных пальцев.

Было прохладно. Сильное течение сбивало с ног. Он оттолкнулся, оторвался от вязи и поплыл к острову. Плыть по течению было легко: вода несла сама, наполняя тело звенящей лёгкостью, вода была другом, приняла в себя его тело и, казалось, даже проходила сквозь него, взаимодействуя с кровью.

«Доплыву ли до острова? – подумалось внезапно. – И хватит ли сил вернуться назад?» Страх тронул сердце, и человек, развернувшись в воде, ощутил тугую, плотную силу течения, препятствующего теперь.

Он выбрался на берег и стоял, обсыхая, и смотрел в небо, на массивные облака – желтовато-серого оттенка, они кое-где расступались, образуя просветы, синие, лазоревые и каких-то других, неизвестных как будто и манивших цветов.

Потом он оделся, немного прошёл вдоль берега, подобрал тугую, обросшую водной травой раковину, замкнутую так плотно, что никакая сила не могла б разомкнуть эти створки.

Моллюск жил внутри, храня свою жизнь в неприкосновенности.

Человек бросил раковину в воду, поднялся к церкви со стороны кладбища и только теперь рассмотрел его. Покосившиеся кресты были серы и одиноки, иные почти вросли в землю, и надписи стёрлись, невозможно было разобрать ни одной.

Человек поднял голову и в глубине неба увидел крохотную белую чайку. Изящно выгнутые крылья, казалось, сами несли её, и она будто не летела, а плыла – плыла, чтобы вскоре исчезнуть, как мимолётная улыбка неба, как символ нашей всеобщности, который можно почувствовать, но нельзя надолго сохранить в сердце.



Владимир ШАТРОВ



Личное дело сержанта Бессарабова

Рассказ

«Получил твоё бумагомарательство. На публикацию разрешение не даю ни под каким соусом. Если где-нибудь напечатаешь, я тебе все уши оборву. Я всегда подозревал, что твоё хождение за мной с ручкой и блокнотом добром не кончится. Моя служба в ГСВГ – моё личное дело...»

(Из письма Владимира Бессарабова бывшему сослуживцу Владимиру Шатрову – отцу автора настоящей повести – Ред.)

1

Дипломат

Жуткое это дело – подводное вождение танков. То есть нормальный человек даже такое словосочетание представить себе не может, не то что сам процесс. Гвардии сержант Бессарабов, широко известный в своём батальоне и за его пределами как Румын, был человеком нормальным. По крайней мере, такое заключение дала призывная комиссия его родного города Кишинёва. Правда, в течение последних суток сам он в этом заключении стал сомневаться. В то время как многие его сверстники, «закосившие» под идиотов, в лучшем случае уже давно были дома, а в худшем – ещё лежали в уютных палатах психиатрических лечебниц, Румын уже почти полтора года служил в Советской армии.

Нет, сначала-то было не так уж и плохо. Всё-таки Группа Советских войск в Германии. Заграница. Опять же – танковые войска. Это не в пехоте по полям бегать с рюкзаком за спиной и пулемётом на плече. Человеческая еда, режим и всё такое. Если бы не это подводное вождение...

Впервые этот ненавистный термин Бессарабов, тогда ещё курсант, услышал на третий день службы, находясь в «учебке» вблизи небольшой немецкой железнодорожной станции Форст-Цинна. Замкомвзвода старший сержант Коржан, недовольный качеством уборки спального помещения, вылил на пол несколько вёдер воды и, заявив, что начинается подводное вождение танков, заставил весь взвод ползать под кроватями прямо по лужам. Сам Коржан при этом забрался на койку, чтобы, как он выразился, «не потонуть», и, сидя в позе султана, ежеминутно требовал отчёта о пройденном пути, глубине погружения и вообще нёс откровенный бред. Румын тогда подумал, что только такой шизофреник, как замкомвзвода, мог представить себе танк в роли подводной лодки. Однако, когда через месяц на одном из занятий в учебных классах командир взвода старший лейтенант Трифонов заявил, что они приступают к изучению темы «ОПВТ», что означает «Оборудование для подводного вождения танка», где-то внизу живота резко похолодело.

Румын трусом не был и за родимый Советский Союз готов был бить любого врага на земле, под землёй и даже в небе, лишь бы не приближаться к водной поверхности или, хуже того, ко дну. Эта своеобразная водобоязнь являлась следствием давнего происшествия. Отдыхая с родителями на Чёрном море, маленький Володя Бессарабов любил плавать на надувном спасательном круге, с которого в один прекрасный день и свалился в воду. Поскольку держаться на воде без любимого плавсредства он не умел абсолютно, то по всем законам физики медленно и печально пошёл ко дну. Перед глазами замелькали разноцветные круги, забегали какие-то полосы, а потом наступила темнота. Как кто-то из купальщиков достал его со дна и привел в сознание на берегу, Володя, естественно, не помнил, но страх перед количеством воды, которое не помещалось в ванну, остался на всю жизнь...

От лекции на тему «ОПВТ» и изучения самого оборудования детский страх не прошёл. Жестяная труба на проволочных растяжках, прикреплённая к небольшому лючку в башне, показалась неустойчивой и ненадёжной. А ведь именно через это «допотопное» сооружение предлагалось дышать экипажу. Вторая труба, подведённая к выхлопному отверстию двигателя, была явно узковата для того количества дыма, которое обычно извергал танк Т-64Б. Вскользь брошенная командиром взвода фраза о том, что случайно заглохший под водой двигатель запустить вновь почти невозможно, повергла в состояние шока. Инструкция по затоплению собственного танка, для того чтобы выровнять внешнее и внутреннее давление воды, без чего невозможно открыть девяностокилограммовый люк, добила окончательно. В этот день курсант Бессарабов перестал верить в технический гений советских изобретателей и конструкторов и впервые усомнился в благополучном исходе Третьей мировой войны, если она, конечно, будет.

С тех пор прошло достаточное количество времени, произошло множество событий и, как говорится, много воды утекло. Курсант Бессарабов получил прозвище Румын за то, что не знал молдавского языка, и его земляки не желали с ним общаться. Командир взвода сделал из этой ситуации странный вывод: «Раз Бессарабов из Молдавии, но не молдаванин – значит, румын». Вопрос о том, что Бессарабов может

быть русским, даже не рассматривался. Затем Румын с отличием окончил учебное подразделение, и ему было присвоено звание младшего сержанта, каковое, в общем-то, наводчикам не полагалось. Командование батальона предложило новоиспечённому младшему сержанту остаться в «учебке» на должности замкомвзвода вместо ушедшего на «дембель» Коржана. Румын, будучи глубоко в душе карьеристом, согласился. Как Бессарабов обучал молодых солдат – отдельная история. Однако надо заметить, что по части изобретательности в сложном деле мучения личного состава он Коржана сумел переплунуть. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Совершенно обнаглевший Румын стал по ночам покидать расположение родной части и, живя по принципу «бешеной собаке – три версты не крюк», посещать ночной бар в ближайшем немецком поселке. Окончательное моральное разложение ускорила связь с официанткой вышеупомянутого заведения.

Может быть, всё это и сошло бы Бессарабову с рук, но у официантки оказался сумасшедший темперамент, и если любовник не появлялся две ночи, то на третью она приходила в воинскую часть сама. Эльга (а именно так её звали) надоедала наряду по КПП своими заявлениями о необходимости встречи с сержантом Бессарабовым до тех пор, пока ей не приводили сонного и измученного ночными бдениями Румына. Эти международные отношения не могли продолжаться бесконечно. В конце концов кто-то или из чувства зависти, или из чувства антипатии к Румыну влюблённую парочку сдал. Начальник особого отдела полка и дежурный по части застали Бессарабова и Эльгу в учебном классе среди секретных плакатов по устройству противотанковых управляемых ракетных снарядов и макетов самих ПТУРСов. Форма одежды задержанных, а точнее, полное отсутствие оной, являлось в данном случае смягчающим обстоятельством. Даже особист понял, что шпионить в таком виде они не могли. Эльгу передали с рук на руки вызванному по телефону наряду полиции ГДР, а Румына решено было отправить в линейные части вместе с его курсантами, которые как раз окончили обучение.

В личном деле младшего сержанта Бессарабова начальник особого отдела начертил собственной рукой: «Отстранён от командирской должности за половые извращения». Заявления Румына о том, что Эльга – человек, а не домашнее животное, более того, не просто человек, а девушка, а значит, о половых извращениях не может быть и речи, как ни странно, были услышаны. Особист предложил изменить формулировку на «отстранён за измену Родине», но честно предупредил, что по такой статье Бессарабов поедет не в войска и даже не в дисбат, а напрямик в Сибирь лет на восемь как минимум. Румын почесал затылок и попросил запись в личном деле не менять.

После достижения консенсуса начальник особого отдела отправил Бессарабова на гауптвахту, пообещав, что тот просидит там до момента отбытия эшелона, который и привезёт его к новому месту службы, если, конечно, его собственные бывшие курсанты не сбросят любимого замкомвзвода под откос по дороге. Одного не учёл особист. «Губа» находилась на территории части, караул набирался из сержантов и солдат, которые хорошо знали Румына, а потому его история стала вскоре известна всему полку. Несчастный «сиделец» стал личностью легендарной, узником совести и борцом за дело победы сексуальной революции. Полторы тысячи солдат срочной службы, измученные половыми гормонами, увидели в истории Румына пример для подражания, а не судьбу изгоя. А потому, когда небритый Бессарабов вошёл в вагон отбывающего в войска поезда, бывшие курсанты встретили его аплодисментами и доброжелательным смехом.

В линейных частях бытовало мнение, что аббревиатура ГСВГ расшифровывается не как Группа Советских войск в Германии, а как Год Служу – Второй Гуляю, а потому к Румыну, отслужившему более года, особых вопросов не возникало. К тому же, история его ночных походов вскоре стала известна и в новом коллективе, хотя сам младший сержант особо на этот счёт и не распространялся. В общем, жизнь текла спокойно и размеренно ещё почти полгода, до вчерашнего дня.

Пришедший вчера на вечернюю поверку комбат майор Богданов был, как говорится, «слегка выпимши». Впрочем, это было обычное состояние комбата, а потому поначалу никто на такую мелочь даже внимания не обратил. Дождавшись, пока дежурный по батальону закончит пересчёт личного состава, комбат, слегка раскачиваясь, встал перед строем и начал речь. Он говорил доброжелательно и даже душевно: «Ну что, сиротки, кирдык вам всем – дуракам! Послезавтра батальон в полном составе убывает на полигон, что на реке Эльба, для выполнения упражнения «Подводное вождение танка». Ежели кто из вас решит захворать накануне, пусть знает, что мне не нужны солдаты, страдающие поносом перед боем. Лично выведу такого негодяя в чистое поле, поставлю лицом к стенке и влеплю пулю в лоб! А потом спишу дохлого паразита в разрешённый процент потерь на учениях». Выдав эту тираду, майор неожиданно икнул и продолжил вещать, причём вторая часть речи комбата по смыслу никак не была связана с первой. «А вот два года назад... – задумчиво произнёс он, – а может быть, три. Хотя какая разница?! Всё равно никого из вас здесь ещё не было. Так вот, проходил наш батальон подводное вождение на Оudere... Или это было на Шпрее? Хотя кого я спрашиваю?! Вас же ещё не было!..» Следить за мыслью комбата личному составу становилось всё труднее и труднее. А он тем временем продолжал: «Так вот. Проходя по дну, наткнулись мы на танк Т-34, затонувший во время войны. С понтонной переправы, наверно, свалил-

ся. Эти понтонные переправы – одно расстройство! Уж лучше по дну, своим ходом... Главное – передачу не трогать, чтоб движок не заглох ... Да, так о чём это я? Нашли, значит, «тридцатьчетвёрку». Ну, наши водолазы нырнули, прицепили трос, и мы её тягачом вытащили. Открыли башенный люк, а там старый сом – килограммов под сто. Он, видимо, когда маленьким был, заплыл в танк по каналу ствола, а когда вырос, выплыть уже не смог...»

Батальон зачарованно, почти не дыша, слушал комбата. Румын тоже слушал, хотя в этой истории что-то его настораживало. И вдруг он понял, что именно. Мысленно похвалив себя за наличие разума, он решил превратить монолог комбата в диалог.

- Разрешите обратиться, товарищ майор? – воскликнул Бессарабов.
- Валяй, сержант, обращайся, – милостиво разрешил комбат.
- Разрешите вопрос, – действуя строго по уставу, продолжил Румын.
- Да давай уже, не тяни сома за хобот, – показал недюжинные познания в биологии майор.
- А что же он ел всё это время? – ехидно поинтересовался сержант.
- Кто? – изумился майор.
- Сом! – с издёвкой уточнил Румын.

Прежде чем открыть рот, комбат построил довольную физиономию, и Румын, ещё не зная ответа, понял, что попал в какую-то ловушку. Следующая фраза комбата подтвердила догадку Бессарабова.

– А он танкистов доил, по три раза в день: на завтрак, обед и ужин, – давась от смеха, изрёк майор Богданов и захрюкал.

Тут надо заметить, что в отношении звуков, которые извлекал из себя комбат в моменты искреннего веселья, другого определения найти невозможно. Богданов не смеялся, а именно хрюкал, причём почти без перерывов, необходимых для забора воздуха. Вследствие этого примерно через минуты полторы-две хрюканье сменялось каким-то повизгиванием, находившимся за гранью морали и звучащим как общественный вызов. Удержаться от смеха, услышав эти звуки, было невозможно, и через две минуты хохотал уже весь батальон, кроме, конечно, Румына.

Подождав, пока батальон успокоится, сержант Бессарабов оглядел своих коллег жалостливым взором и сказал:

- Ну откуда в Советской армии столько клоунов?!
- Румын, – тут же отозвался комбат, – если хочешь знать, откуда в Советской армии столько клоунов, читай работу Ленина «Откуда в Советской армии столько клоунов».

Произнеся эту сложную фразу, комбат продолжил хрюканье. Затихшие было танкисты захохотали вновь.

- Господи, – воззвал Бессарабов, – я-то какого хрена делаю в этом цирке?
- Ну, во-первых, бога нет, – вновь отозвался майор Богданов. – А во-вторых, если ищешь ответ на вопрос, какого хрена Румын делает в этом цирке, читай работу Ленина «Какого хрена Румын делает в этом цирке».

После этих слов комбата некоторые, видимо, самые впечатлительные солдаты буквально попадали на пол. Сержант Бессарабов, которому надоел этот пьяный бред, махнул рукой и, выйдя из строя, направился в сторону своего спального помещения.

- Ты куда это пошлёпал, Румын? – поинтересовался комбат.
- Если не знаете, куда пошлёпал Румын, читайте работу Ленина «Куда пошлёпал Румын», товарищ майор, – нашёлся Бессарабов.
- А мне не надо читать, я и так знаю, что Румын пошлёпал заступать в первый из трёх внеочередных нарядов по батальону. Остальные два отстоишь, когда вернёмся с учений, – поставил жирную точку в разговоре майор Богданов...

Когда через сутки сменившийся из наряда гвардии сержант Бессарабов спал, видя во сне кошмар про море, в батальоне взревел сигнал тревоги. Было четыре часа утра. Вообще, начало любых учений и даже выездов на работу за пределы части всегда сопровождалось этим сигналом – и всегда в четыре часа утра. Видимо, график подобных мероприятий создавал законченный садист, а утверждал несостоявшийся палач. Можно же, наверное, было бы объявлять тревогу после завтрака или даже до такового, вместо утренней зарядки. Но в армии не ищут лёгких путей.

Ещё через десять минут Румын уже находился в башне своего танка, который, пожирая километр за километром, увозил его к месту учений, где, как догадывался Бессарабов, родная армия попытается перекроить танкиста в водолаза.

Путь лежал вдоль берега Эльбы, от города Виттенберг, где дислоцировался полк, до города, который назывался Виттенберге, и даже немного дальше – по танковому маршруту, ведущему до города Виттенбург. Вообще, с фантазией в плане названий городов у немецкого народа плоховато (то ли дело советские Кривой Рог, Урюпинск или Кологрив – это же песня, а не названия!)

Дорога была дальней, и сержант Бессарабов несколько успокоился. Ему удалось даже вздремнуть

часок, откинув голову на осколочно-фугасный снаряд, находившийся в нише за спинкой командирского кресла. Если бы на «гражданке» кто-нибудь предложил Володе Бессарабову использовать вместо подушки такую опасную штуковину, ясное дело, Вова послал бы его куда подальше и лучше положил бы себе в кровать живого крокодила, но человек привыкает ко всему.

Наконец третий танковый батальон, в котором имел честь служить гвардии сержант Бессарабов, прибыл на место. Оно находилось на берегу Эльбы, ниже города Виттенберге по течению этой уже ненавистой реки. На противоположном берегу виднелся своеобразный плацдарм территории ГДР шириною в две-три сотни метров, который оканчивался колючей проволокой, контрольно-следовой полосой и прочими атрибутами государственной границы с ФРГ. Вверх по течению плацдарм расширялся, поскольку Эльба уходила в глубь ГДР, вниз по течению, наоборот, постепенно сужался, и примерно через километр граница соединялась с рекой, по которой далее и шла. На берегу, где остановился батальон, находились какие-то бетонные строения зловещего вида и огромный бассейн, в который прямо из Эльбы были проложены трубы.

Остаток дня танкисты потратили на установку палаток-казарм, обустройство полевой кухни и столовой, отхожих мест и умывальников. После ужина поступила команда строиться перед палатками. Комбат, находившийся в своём обычном состоянии полунирваны, выступил с речью, в которой радостно сообщил о том, что страна нуждается в героях, а бабы рожают дураков, и завтра он намерен это положение дел исправить. Все, кто не научится дышать под водой, вымрут, как мамонты, потому что с утра начнётся лёгководолазная подготовка. В конце собственной речи комбат прихрюкнул от восторга и скомандовал отбой.

Румын не спал всю ночь. Под утро у в общем-то патристично настроенного сержанта Бессарабова даже появилась мысль о побеге на сопредельную сторону. Остановило его только то, что плавать он не умел, а идти по дну на собственном танке было глупо, так как нежелание делать именно это и являлось причиной возможного дезертирства.

Утром, выбежав из палатки по команде «подъём», солдаты батальона с удивлением увидели в трёхстах метрах от палаток наведённую за ночь понтонную переправу и самих понтонщиков, суесящихся на обоих берегах. Затеplилась слабая надежда на то, что упражнение «подводное вождение» заменили «форсированием водной преграды по временному мосту». Надежда не оправдалась. После утренней зарядки и завтрака перед построившимся батальоном выступил абсолютно трезвый, а потому очень злой комбат. Он сообщил о том, что седьмая рота сейчас отправляется на учебное место по изучению лёгководолазного снаряжения, а затем – прямиком в бассейн. Что касается восьмой и девятой, то они в полном составе идут по понтону на противоположный берег – копать танковые окопы, чтобы не было дурных мыслей. Восьмая и девятая роты сделали правильный вывод из услышанного. Дурных мыслей благодаря трудотерапии не должно появиться у них самих, а не у солдат НАТО, находящихся в пределах прямой видимости, по ту сторону границы. В подтверждение этого вывода майор Богданов завершил свою речь патетичной фразой: «Когда я вижу солдата без лопаты, у меня просто сердце кровью обливается. А что касается Румына, то он без лопаты – преступник!»

Копали два часа под присмотром офицеров своих рот, а также на глазах удивлённых пограничников ГДР и под перекрёстными подозрительными взглядами солдат североатлантического блока, наблюдавших за этими явными приготовлениями к войне из-за колючей проволоки. Через два часа прибежал посыльный от комбата с распоряжением для восьмой роты выдвигаться на учебное место, а девятой – копать дальше. Восьмая ушла. Девятая рота продолжала остервенело вгрызаться в землю, в том числе, конечно, копал и Румын, поскольку состоял в девятой. Ещё через два часа, когда ладони согнулись под черенок лопаты и разгибаться уже не хотели, вновь прибежал посыльный и вызвал роту на обед. Суп хлебали прямо из котелков, поскольку ложку руки не держали. Сложнее было со вторым блюдом. Но тут помогла солдатская смекалка. Опрокинув котелок на лобовую броню танка, Румын по очереди засосал макароны, а потом буквально загрыз котлету.

После обеда восьмая рота ушла к бассейну, девятая – на учебное место, а седьмая, прошедшая лёгководолазную подготовку, с лопатами выдвинулась на противоположный берег. Сержант Бессарабов восхитился чёткости графика замены рот и отлаженности схемы по мучению личного состава. Было только непонятно: комбат не спал всю ночь и придумывал эту гадость или подобным пакостям учат всех офицеров в военных училищах.

На учебном месте всем заправлял лучший друг и собутыльник комбата – заместитель по технической части капитан Таранов. На грубо сколоченном из неочищенных от коры жердей прилавке перед капитаном лежало то самое лёгководолазное снаряжение – танковые ИПы. В любом танке таких индивидуальных средств было три штуки – по одной на каждого члена экипажа. Бессарабов прекрасно знал, для чего они предназначены, а потому всегда смотрел на них с нескрываемой тоской. Сам ИП представлял собой маску от обычного армейского противогаза, резиновый обруч, напоминающий камеру от колеса мотоцикла, и гофрированный шланг, соединяющий эти две составляющие. Внутри резиновой камеры находилась пригоршня химического реактива, превращавшего выдыхаемый человеком углекислый газ в кислород.

Инструктаж по использованию ИПа сводился к нескольким фразам капитана Таранова и пестрел армейским фольклором, например: «Надеваем резиновый обруч через череп на плечи, вместо подворотничка, чтобы шейка не потела. А маску натягиваем на морду лица, дабы не пугать товарищей по экипажу бессмысленным выражением рожи, когда будем лежать дохлые, синие и с высунутыми языками». Из всего этого словоблудия мозг солдата буквально вылущивал полезную информацию. А её было немного. Прежде чем надеть маску, нужно было набрать полные легкие воздуха, а затем выдохнуть его через шланг в камеру. Чем больше выдохнешь – тем дольше проживешь, но в любом случае – не более двух часов. Покидать затонувший танк до истечения этого срока запрещалось. Заглохший под водой мотор танка прекращал обеспечивать необходимой энергией систему «Брод», которая, в свою очередь, уже не могла создавать внутри боевой машины избыточное давление. Заборная вода начинала поступать внутрь танка через все щели, постепенно затапливая его, замыкая электрооборудование и делая невозможной любую попытку запуска двигателя. Экипаж, не имея никакой связи с поверхностью, должен был, по словам зампотеха Таранова, «сидеть тихо, не булькать и не гнать волну», надеясь на то, что дежурные водолазы, отыскав под водой танк, протянут к нему с берега трос, и тягач вытащит затонувшую машину вместе с экипажем.

То есть так должно быть в идеале. Если вдруг что-нибудь пойдёт не так, например, как сказал капитан Таранов, «наступит время ужина, и нам будет не до вас», по прошествии двух часов реактив перестает действовать, и человек начинает задыхаться. Тогда и только тогда экипаж имеет право эвакуироваться. Делается это следующим образом. В пресловутую резиновую камеру ИПа вмонтированы два пиропатрона, каждый из которых, если его взорвать, дает кислорода ещё на десять минут дыхания. Пиропатроны, которые танкисты окрестили «последнее желание», взрываются простым нажатием пальца один за другим с интервалом в десять минут. За это время можно выкрутить триплексы командирской башенки, ликвидировав воздушную пробку (если таковая имеется), и полностью затопить танк. После этого наводчик и командир могут открыть свои люки и выбраться из башни. Механику в этом отношении проще – его люк отъезжает вбок и, в принципе, может открыться даже при частично затопленном танке. Оставшегося времени должно хватить даже на то, чтобы дойти пешком по дну реки до берега, если не умеешь плавать.

После инструктажа зампотех заставил всех по очереди надеть один и тот же ИП и, радостно суетясь вокруг, кричал каждому экспериментатору в ухо: «Ну что, работает? Ведь можно дышать? А ты сомневался!». Дышать действительно было можно. Это сержант Бессарабов опробовал на себе. Однако, был и психологический момент: в стекла противогазной маски была прекрасно видна родная планета, укрытая, словно одеялом, пригодной для дыхания атмосферой. Что случится, когда вокруг будет вода, Румын даже представить себе не мог.

Наконец капитан Таранов свою работу закончил и объявил перекур. Солдаты и сержанты сгрудились в кучу и стали ждать своей очереди на затопление в бассейне. Курить никому не хотелось, все наслаждались процессом вдыхания и выдыхания воздуха. Сколько продолжалось ожидание, точно сказать никто не мог, но когда прибежал посыльный комбата с приказом идти к бассейну, все встали с земли с таким видом, как будто только что присели.

В бассейне всем заправлял лично комбат. Его монументальную фигуру невозможно было не заметить. Майор Богданов стоял на бортике бассейна, из одежды на нём были только подкатанные до колен камуфляжные брюки. Зато в правой руке он держал тонкую жердь высотой в два человеческих роста, а в левой – свёрнутую в бухту зловещего вида верёвку. В любое другое время сержант Бессарабов завернул бы какую-нибудь шутку по поводу Виннету сына Инчучуна, но в этот раз с юмором было плоховато у всех. Впечатление, что перед ним стоит индеец, вышедший на тропу войны, усилилось, когда Румын подошёл поближе. На груди комбата красовалась татуировка, явно нанесённая старым папуасским способом – путём надрезов на коже и втирания в раны какой-то краски. Из-за этого рисунок казался объёмным и страшным, хотя сюжет был незамысловат. Там был изображён уже устаревший советский танк Т-52, выезжающий из джунглей прямо по поваленным деревьям. Над татуировкой была надпись на непонятном языке: «Repubilika ya Kongo». О том, что майор Богданов служил инструктором в армии Республики Конго, Бессарабов слышал и раньше, оставалось только сожалеть, что его там не съели. Справа от комбата лежала стопка мокрых солдатских х/б и стояли два десятка пар мокрых кирзовых сапог. Слева в кучу были свалены звенья танковых гусениц с привязанными к ним проволочными петлями. Прямо под ногами лежали ИПы. Примерно так и представлял себе Румын свидание с сатаной в воротах ада.

Майор Богданов встретил девятую роту дружелюбной фразой: «Ну что застыли, покойнички? Переодевайтесь. Или в своём обмундировании в это болото ползете?» И дальше закрутилась жуткая карусель. Скинув свои юфтевые сапоги и тщательно подогнанную форму, все переобулись в «кирзачи» и переоделись в лохмотья, при этом как-то сразу съёжившись, несмотря на жаркий августовский день.

Комбат выкрикнул первую фамилию. С видом преступника, приговорённого к виселице, к майору подошёл узбек Мурзаев, все остальные вздохнули с облегчением. Богданов указал Мурзаеву на ИПы, и

узбек послушно надел один из них. Затем комбат обвязал Мурзаева под мышками верёвкой и, подведя к куче траков, что-то негромко сказал. Мурзаев, схватив один трак за проволочную петлю, вместе с ним поспешно плюхнулся в бассейн и скрылся под водой. Комбат прогулочной походкой пошёл вокруг бассейна, периодически поддёргивая конец верёвки, оставшийся в его руках, видимо, направляя или поторапливая Мурзаева. Примерно на середине пути Мурзаев почему-то попытался вылезти из бассейна, но был скинут обратно ловким ударом шеста. На видевшем всё это сержанте Бессарабове за секунду высохла форма. Покинуть бассейн комбат разрешил Мурзаеву только в том же самом месте, где он погрузился.

Румын был вызван четвёртым. К тому моменту он уже успел поговорить с Мурзаевым. Более всего Володю Бессарабова интересовал вопрос, что мог сказать комбат узбеку такого страшного, что тот так поспешно погрузился в воду. Мурзаев сообщил, что майор прошептал ему: «Если ты, балла, сейчас не нырнёшь, я засуну тебе эту жердь туда, куда ты даже не догадываешься, а вытащу её через такое место, о котором ты даже не подозреваешь. Буалдымэ?» Как признался Мурзаев, его больше испугала не сама угроза, а то, что комбат, несомненно, знает узбекский язык. И с криком «Буалдэ!» он бросился в бассейн. Идя по дну, он всё время думал над тем, что сказал майор, пытаясь представить себе маршрут прохождения жерди. Закончил свою речь Мурзаев утешением: «Ты не бойся, Румын, он никогда не повторяется и для каждого находит нужные слова. Ты тоже прыгнешь!»

Сержант Бессарабов встал на бортик бассейна и, глянув на мутную воду, внутренне содрогнулся. Комбат, сунув в руки сержанту ИП, обвязал Бессарабова верёвкой и, подтолкнув к нему ногой звено гусеницы, начал инструктаж.

– В батальоне острая нехватка запасных траков, – изрёк Богданов и оскалился в какой-то людоедской улыбке. – Если ты, вредитель, потеряешь под водой эту железяку, я отрежу тебе руку и отошлю её твоим детям по почте.

– У меня пока нет детей, товарищ майор, – слабо возразил Румын.

– Ничего, – ещё сильнее растянул губы в ухмылке комбат. – Я подожду, мне не к спеху!

Через несколько секунд, надев ИП и выдохнув в него воздух, сержант Бессарабов уже летел в воду, прижимая к груди трак как самую большую драгоценность.

Ненавистная среда встретила холодом и беспросветной мутой, вода тут же наполнила сапоги и противно приклеила к телу чужое х/б. Румын невольно задержал дыхание, чего по инструкции делать было категорически нельзя. Когда новоявленный водолаз решил всё-таки вдохнуть воздух, кислорода явно не хватало. Бессарабов, бросив на дно трак, суматошно задёргал руками и ногами и вдруг выплыл на поверхность. Тут же вокруг головы стали появляться какие-то фонтанчики воды и слышались всплески. Причина этого явления стала понятна, когда Румын посмотрел на берег. Комбат, стоя на бортике бассейна, бил шестом, стараясь попасть сержанту по голове, но пока, слава богу, промахивался. И тут случилось чудо: повернувшись к центру бассейна, Румын поплыл, причём развивая хорошую скорость, несмотря на тяжёлые сапоги и неудобное х/б. Уплыть, впрочем, удалось недалеко. Майор Богданов стал подтягивать пловца за верёвку обратно к берегу, действуя исключительно левой рукой. В правой руке комбат держал жердь, как копьё, целясь Бессарабову в голову. Ситуация напоминала рисунок из любимой Володиной книги «Моби Дик», только чувствовать себя в роли загарпуненного кита было очень неуютно. Увидев, что майор вот-вот метнёт свою своеобразную острогу и, скорее всего, на этот раз не промахнётся, Румын прекратил дёргаться и ушёл в глубину. Опустившись на дно, он лихорадочно стал шарить руками в поисках своего трака. Вскоре и правая, и левая рука одновременно наткнулись на железные звенья с петлями. Не зная, который из двух траков его, сержант Бессарабов схватил оба и отправился в путь по дну бассейна.

Видимость была нулевой, вода поступала в бассейн из Эльбы, а она, как известно, является самой грязной рекой Европы, а потому Румын раз двадцать сбивался с пути и, наверное, ходил бы по кругу долго, если бы комбат, периодически дёргая за верёвку, не наставлял его на путь истинный. Примерно на середине пути, проходя мимо труб, по которым наполнялся бассейн, Бессарабов попал в струю такой холодной воды, что ему снова захотелось бросить траки и всплыть. Правда, он вовремя вспомнил, как на этом же месте и, наверное, по этой же причине пытался покинуть бассейн Мурзаев и что из этого вышло, а потому, съехившись, пошёл дальше.

Наконец майор сильно потянул за верёвку, явно вытягивая «подводника» на берег. Подобравшись вплотную к бортику бассейна, сержант Бессарабов забросил на него один за другим оба трака, а затем, подтянувшись на руках, вылез сам и снял ненавистный ИП. Комбат с изумлением рассматривал добычу водолаза.

- Слышишь, Румын, – в конце концов произнёс Богданов, – у тебя что, траки в руках размножаются?
- Нашёл на дне, – отдышавшись, ответил сержант. – Он ничей, можете забрать себе.
- Самец! – похвалил комбат. – А чего ты там в самом начале суеился?

– Так я его в самом начале и нашёл. Думал оставить на берегу, чтобы не тащить всю дорогу, а вы меня палкой по голове. Пришлось тащить.

– Дважды самец! – резюмировал майор Богданов. – Извини, я тебя не понял. Слушай, может быть, ещё раз сходишь? Теперь без верёвки, траки нужны...

Сержант Бессарабов снял сапоги и, вылив из каждого несколько литров воды, принялся растирать скрюченные, посиневшие пальцы ног, бормоча под нос: «Схожу непременно, как только водичка чуть-чуть потеплеет».

Следующее утро началось с уже традиционного построения перед палатками, после которого седьмая рота ушла в сторону загадочных бетонных строений, а восьмая и девятая, взяв лопаты, отправились по понтону на противоположный берег. На прилегающей территории ФРГ наблюдалась бурная деятельность. Солдаты НАТО копали танковые ловушки и строили долговременные огневые точки, без усталости размахивая лопатами. Наперегонки с вероятным противником девятая рота копала до обеда. Восьмая ушла чуть раньше, и вскоре на смену ей пришла седьмая. Поговорить с коллегами о том, что происходит на родном берегу, не получилось, любые попытки общения пресекались офицерами. Поэтому, когда наступила очередь девятой роты отправляться за своей порцией мучений, – шли опять в неизвестность.

Внутреннее строение бетонного ангара, в который вошли солдаты девятой роты, напоминало амфитеатр. От входа вниз вели ступени, а ниже уровня земли находился овальный бассейн со стоками для воды. В центре бассейна стоял танк Т-64Б, к которому были подведены трубы, снабжённые вентилями. На башне танка стоял комбат, что добавляло ужаса и без того страшной картине. Повисла гнетущая тишина. Слышно было, как где-то капала вода. Довольный произведённым эффектом, майор Богданов прохрипел: «Румынский экипаж ко мне». Сержант Бессарабов, испытывая острую потребность грохнуться в обморок, продублировал команду: «Экипаж к машине!»

Ещё через минуту командир танка Бессарабов, наводчик-оператор Лычманюк и механик-водитель Рошка получали инструктаж. Комбат вещал для всех, но упор делал на стоящей перед ним тройке: «Сейчас вы, земноводные, залезете в эту пустую коробку и наденете ИПы. После чего я задраю люки снаружи и открою вентили. Изнутри люки не отпираются, слишком много было случаев, когда, запаниковав, солдат не мог открыть внутреннюю задвижку, вследствие чего быстро «зажмурился», причём навсегда. В танке, естественно, нет никаких средств связи, и вообще ничего нет, кроме клапана на самой верхушке башни, из которого потечёт вода, когда затопление завершится. С этого момента начинается отсчёт времени. Через десять минут вода сливается, и вы вприпрыжку покидаете танк, радуясь тому, что остались живы, если, конечно, остались...

Каждый из вас возьмёт в руку гаечный ключ, которым, если что-то пойдёт не так, сможет постучать по внутренней поверхности брони, с которой, кстати, содрана изолирующая обшивка. Так что мы вас услышим, и затопление будет приостановлено. Но скажу честно: я не завидую тому, кто постучит. Гарантирую, что до конца службы этот нервный солдат или сержант будет мыть отхожие места в казарме, привыкая к воде».

После такого дружеского напутствия все члены экипажа заняли положенные по штатному расписанию места в танке, надели ИПы и сжали в потных ладонях гаечные ключи. Люки захлопнулись, и очень медленно потекло время...

Слегка пошевелив ногами, для того чтобы устроиться удобнее, сержант Бессарабов услышал какой-то плеск и резко посмотрел вниз. Танк наполнялся водой, уровень которой поднялся уже до среза голенищ сапог. Вода явно проходила через фильтры, поскольку была относительно чистой. Видимо, поэтому комбат и не заставил всех переодеться. Однако чистая вода была не менее страшной, чем грязная. Бессарабов смотрел на чуждую сердцу агрессивную среду, будучи не в силах отвести взгляда. Вода поднялась до колен, и тут гробовую тишину внутри танка прорезал истошный вопль наводчика Васьки Лычманюка.

– Румын, Румын, – орал наводчик, сняв ИП и глядя выпученными глазами на своего командира поверх казенной части танковой пушки, – Румын, постучи по броне! Умоляю, постучи.

– Сам постучи, хохол! – тоже на повышенных нотах отозвался Бессарабов.

– Я не могу, я гаечный ключ в воду уронил, он в механизм заряжания провалился, его теперь не достать. Постучи, сволочь, как брата тебя прошу!

– Я тебе сейчас в печень постучу. Сам ты сволочь! Откуда ты только взялся на мою голову, бандеровец?

– Румын, – продолжал истошно вопить Лычманюк, – я тебя почти не слышу, сними ИП!

Вместо ответа сержант Бессарабов согнул в локте левую руку и хлопнул ладонью правой руки в изгиб левой.

– Румы-ы-ы-н, Румы-ы-ы-н, – вновь завыл наводчик и вдруг на полуноте оборвал вой.

По поверхности воды пошла сильная рябь, а под водой стали ощущаться какие-то толчки. Создалось впечатление, что в танк заплывла огромная рыба и теперь мечется и бьётся в закрытом пространстве. Одновременно Бессарабов и Лычманюк поняли, что вода полностью накрыла механика-водителя Рошку, который находится ниже, в отделении управления, и о котором они совсем забыли. Через полминуты толчки прекратились, а потом пропала и рябь. Ударов гаечным ключом по броне ни командир, ни наводчик не слышали. Лычманюк натянул маску ИПа на позеленевшее лицо и откинулся на спинку кресла наводчика. Бессарабов провел рукой по лбу, пытаясь вытереть пот, но, ощутив под ладонью резиновую поверхность, вполголоса чертыхнулся. Вода прибывала...

Примерно через минуту вода начала холодить шею. Бессарабов встал с кресла. То же самое сделал Лычманюк. Ещё через полминуты уровень воды вновь достиг шеи. Попытка приподняться на носках сапог ни к чему не привела, поскольку головы упёрлись во внутреннюю поверхность люков. Линия границы воды и воздуха, быстро промелькнув перед стеклами маски, ушла наверх. Ещё примерно минуту подводный мир сотрясало от толчков и взбрыкиваний командира и наводчика, но ряби не было – танк был затоплен полностью.

Через десять минут скрючившийся в кресле сержант Бессарабов увидел, как граница воды и воздуха проследовала в обратном направлении. Сняв маску ИПа, со словами: «Надеюсь, никто не обмочился со страху», – Румын, зачерпывая воду пригоршнями на уровне груди, стал смывать с лица пот. В соседнем кресле часто икал Лычманюк. Как себя чувствует Рошка, пока было неясно – он ещё находился под водой.

Скрежет открываемых люков прозвучал небесной музыкой. К этому моменту в экипаже был полный порядок: Рошка отозвался из нижнего этажа, а Васька Лычманюк, повисев вниз головой, отыскал в пустых снаряжных лотках механизма зарядания потерянный гаечный ключ. Голос майора Богданова, которым была отдана команда: «Экипаж к машине», – показался каким-то родным. Сам комбат сидел на башне, покуривая тонкую немецкую сигару, в десяти метрах от танка, с застывшими лицами, столпились остальные танкисты девятой роты.

– Как водичка, Румын? – по-отечески поинтересовался Богданов.

– Бодрит, товарищ майор! – лихо ответил Бессарабов.

– То-то я смотрю, вы какие-то синие вылезли. Идите на улицу греться и сушить одежду, – приказал комбат и, повернувшись к стоящим внизу солдатам, скомандовал: – Туркмен и его команда, в машину!

Двигаясь, как зомби, на броню полез экипаж Нарбая Саюнова, друга Румына по «учебке», единственного туркмена в полку, который сумел выбиться из рядовых наводчиков в младшие сержанты и стать командиром.

Ещё раз окинув всех победным взглядом, Румын спрыгнул с танка. При приземлении ноги подкосились, и сержант Бессарабов упал на бетон, распластавшись, как жаба. За всё время службы такой конфуз случился с ним в первый и, слава богу, в последний раз...

На следующее утро Румын демонстративно вышел на построение с лопатой в руках, чем очень повеселил сослуживцев. В душе Бессарабов надеялся на то, что комбат воспримет его поведение как вызов и в наказание отправит копать окопы, отстранив от выполнения упражнения. Номер не прошёл. Майор Богданов, скользнув взглядом по строю, изрёк: «Румын, иди, поменяй лопату на ласты – они тебе сегодня понадобятся!»

Последний инструктаж батальон получил на берегу Эльбы. Технических проблем речь комбата не затрагивала, зато касалась вопросов географии. Богданов обещал лично из своего танка открыть огонь по трубам любой машины, которая повернёт вниз по течению в сторону ФРГ, а потом расстрелять из зенитного пулемёта спасающийся экипаж, даже если придётся вести огонь по сопредельной территории.

После этой впечатляющей речи командир седьмой роты по понтонному мосту перегнал один из танков батальона на противоположный берег, где экипаж стал устанавливать на него ОПВТ. Ещё одну боевую машину стали готовить к погружению на родном берегу. Эти танки, двигаясь навстречу на расстоянии пятидесяти метров друг от друга, должны были челночным образом перевезти на себе постепенно все экипажи. Суть упражнения состояла не в проверке боевых машин, а в проверке личного состава, поэтому всю технику можно было не задействовать. Седьмая рота и половина восьмой ушли по понтону на другой берег, вторая половина восьмой и девятая остались на месте. По завершении учений каждый солдат должен был оказаться на противоположном от себя берегу. Во избежание проблем и на одном, и на другом берегу должны были дежурить водолазы, тягачи и танки с полным боекомплектom. Сержант Бессарабов в очередной раз восхитился чёткостью и отлаженностью всей затеи.

Тягачи и водолазы уже были на месте. На родном берегу расчехлил ствол пушки и зенитный пулемёт танк зампотеха Таранова. На противоположный берег готовился отправиться на своём танке лично майор Богданов. Вдруг Бессарабов заметил, что комбат, сидя на башне своего заведённого танка, машет ему

рукой. Сержант припустил скачками, радостно благодаря небо за то, что для него погружение, видимо, меняется. Комбат, дождавшись запыхавшегося Бессарабова, прокричал ему, не слезая с башни: «Румын, твой экипаж идёт первым. После выполнения упражнения – пулей ко мне. И это... Смотри, рыбку не задави!» Произнеся последнюю фразу, майор Богданов многозначительно похлопал ладонью по зенитному пулемёту, после чего, прижав к нижней челюсти ларингофоны, командовал водителю танка: «Вперёд!»

Назад сержант Бессарабов шёл значительно медленнее. Команду Румына: «Экипаж к машине», Рошка и Лычманюк встретили стопами, но выполнили. Через десять минут с противоположного берега взвилась красная ракета, давшая старт учениям. Ещё через тридцать секунд экипаж уже находился на своих штатных местах, на коленях у всех лежали ИПы. Рошка завёл двигатель. Все закрыли люки и подключили провода шлемофонов к танкеткам связи. Услышав в наушниках команду комбата: «Броня, я первый, вперёд!», Бессарабов продублировал её хриплым голосом: «Механик, вперёд!», не веря в то, что он это произносит.

Рошка включил скорость, и танк мягко покотил. Ещё через секунду Рошка щёлкнул тумблером системы «Брод». От избыточного давления у всех членов экипажа глаза полезли на лоб, уши заложило, а сердце заколотилось, как во время прохождения полосы препятствий. Румын упёрся шлемофоном в налобник прицела зенитного пулемёта, закрыл глаза и стал вещать на одной ноте, как плохой батюшка в церкви: «Рошка. Земляк. Я тебя прошу. Как войдём в воду – не трогай скорость. Не газуй. Не дёргай рычаги. Васька. Брат. Я тебя прошу. Смотри на азимутальный указатель. Не дай свернуть в сторону границы». И снова: «Рошка. Земляк. Я тебя прошу. Как войдём в воду...» Заунывный монолог командира прервал крик наводчика: «Румын, тебе что – повылазило? Мы давно в воде по самые помидоры! Сейчас трубу захлестнёт! Они тут глубину проверяли? Или нами измерить решили? Да посмотри ты в прицел! Ты заснул, что ли?»

Зная, что делать этого не надо, понимая, что сюжет, который он увидит, будет преследовать его во снах всю оставшуюся жизнь, Володя Бессарабов открыл глаза и посмотрел в прицел.

Картина напоминала кадры из плохого фильма о гибнущей планете. Сквозь мутную толщу воды еле проникал солнечный свет. Грязный песок и ил, поднятый гусеницами танка, течение быстро уносило вправо. Дно Эльбы было покрыто гниющими ветками деревьев, пластиковыми пакетами и различным мусором, по которому с тупым упорством гиппопотама ползла сухопутная боевая машина. Спуск кончился, впереди расстилалась ровная поверхность. Бессарабов повернул зенитный пулемёт влево и вверх и посмотрел на воздухозаборную трубу в прицел, после чего перевёл дух и сообщил Лычманюку: «Всё в порядке, четверть трубы ещё над водой, а глубже уже не будет». Васька тоже вздохнул с облегчением и прильнул к ПДПС – прицелу наводчика-оператора. Румын стал дальше смотреть в свой прицел. Несколько мешала какая-то водоросль, прицепившаяся снаружи, да и глядеть было особенно не на что. Всё та же муть, грязь и отходы человеческой жизнедеятельности. Немного развлекла рыба размером с ладонь, которая, как сумасшедшая, шныряла перед танком снизу вверх и сверху вниз. «Не задавить бы, – подумал Бессарабов. – Увидит комбат на гусеницах этого дохлого караса, скажет, что губим природу. Ему только бы найти повод придраться...» Увлёкшись рассуждениями о комбате и карасе, Румын даже не заметил, что танк уже движется в гору и вокруг становится всё светлее и светлее. Вдруг в стекло прицела буквально ударил солнечный свет, а затем сержант Бессарабов увидел, как из реки появляется передняя часть танка. Вода еще стекала водопадами с фальшбортов, а траки уже жевали береговую грязь и наконец вынесли машину на твердую землю. «И это – всё? – мысленно почти возмутился Румын. – Столько дней мучений – и всё уже кончилось?» И сам себе ответил на этот риторический вопрос: «Да, слава богу, кончилось!»

После того как танк вновь был развернут носом в сторону реки и по команде майора Богданова экипаж покинул машину, к Бессарабову подошёл механик-водитель Рошка.

– Командир, ты там говорил что-то, – извиняющимся голосом произнёс механик. – Я ничего не понял. Наушники у меня с хрипом, а тут ещё система «Брод» на уши давит. Ты чего хотел?

– Хотел рассказать анекдот про водолаза, – не моргнув глазом, соврал Бессарабов.

– А ты действительно псих, Румын! Нашёл время! – обиженно произнёс Рошка и нервно закурил.

Бессарабову курить было некогда, помня распоряжение начальства, он отправился к танку комбата.

– Ну что, Румын, такое добро, как ты, не тонет? – доброжелательно приветствовал сержанта майор Богданов. – Что ж, мне в тебя осиновый кол вбивать?

– Товарищ гвардии майор, гвардии сержант Бессарабов по вашему приказанию явился, – не желая поддерживать шуточный тон, рапортовал Румын.

– Являются упыри и вурдалаки у тебя на родине, а ты прибыл, – поправил комбат.

– Виноват, прибыл, – согласился Бессарабов.

- Значит, нормально разговаривать не хочешь, знаток устава? – поинтересовался Богданов.
- Хочу. За что мытарите, товарищ майор? Что, больше прицепиться не к кому в целом батальоне?
- Ишь, какие мы ранимые, – хмыкнул комбат. – Ладно. Сейчас мой экипаж уходит к реке, где будет ждать свой очереди на погружение, а ты забирайся на место наводчика. В случае движения любой машины вниз по течению немедленно открыть огонь по трубам осколочными снарядами. Вопросы?
- Я по нашим стрелять не буду, товарищ майор! – набравшись смелости, заявил Бессарабов.
- Да ты очумел, Румын! – вспыхнул Богданов. – В дисбат захотел за невыполнение приказа? Кто тебе «наши»? Мордва, чуваши? Все твои под Бухарестом в овраге лошадь доедают! По моей команде откроешь огонь! Второй команды не будет. Будет пуля в голову. И попробуй только промахнуться. Будет пуля в голову. Я не промахнусь.
- Пуля, пуля, – бормотал Бессарабов, забираясь на место наводчика комбатовского танка. – Патронов у него много! Ворошиловский стрелок. Рычит, как собака...
- Чего ты там бубнишь, Румын? – устраиваясь у зенитного пулемёта, поинтересовался комбат.
- Есть, говорю. Бабахнем... – окончательно сдался Бессарабов.
- В том, что комбат не шутит, Румын убедился, заглянув в механизм заряжания. Ближайшие три лотка были заняты осколочно-фугасными снарядами, краники на которых были повернуты в положение «Осколочный». Более того, с «носоиков» снарядов кто-то скрутил защитные алюминиевые колпачки, оголив боевые мембраны. Теперь для того, чтобы вызвать взрыв, было достаточно щёлкнуть по мембране пальцем. Среди танкистов ходили легенды о том, что в таком положении взрыватель срабатывает при попадании в каплю дождя. Бессарабов в эти байки не верил, но в том, что снаряд взорвётся при ударе о воду, не сомневался. В голове мелькнула мысль: «Хоть бы никто не рванул в сторону границы. Утоплю же, как сусликов».
- Учения шли полным ходом. Танки, оснащённые ОПВТ, шныряли туда и обратно, с минимально возможными остановками для погрузки и выгрузки экипажей. На берегу, где нёс службу сержант Бессарабов, ревели заведёнными двигателями два тягача, ЗиЛ-131 понтонщиков, дежурный танк комбата и прибывший за чем-то танк командира восьмой роты. Такое количество машин создавало настоящую дымовую завесу, которую умеренный ветер постоянно относил в сторону границы с ФРГ. Пограничники ГДР давно ушли из полосы дыма, оголив участок границы и ничуть не переживая по этому поводу. Сложнее было солдатам НАТО на сопредельной стороне, а точнее, танкистам Первой Британской Бригады сил быстрого развёртывания, которые были вынуждены сидеть на броне своих «Челленджеров» и задыхаться. Со стороны границы постоянно слышался кашель, и доносились проклятия на английском языке. Вся эта ситуация здорово развлекала механиков танков и водителя ЗиЛа, веселясь, они ещё добавляли газу.
- Так прошло полчаса. Вдруг сидящий на месте наводчика сержант Бессарабов почувствовал, что кто-то стучит по его шлемофону ладонью, и, взглянув вверх, увидел комбата, который жестами показывал ему, что надо вылезти из люка.
- Что ещё случилось, товарищ майор? – искренне возмутился Бессарабов. – Сижу тихо, никого не трогаю...
- Слушай, Румын, – миролюбиво прервал его комбат, – тут пришёл какой-то Ганс, чего-то лопочет, а я не понимаю. Спроси, чего ему нужно, бедолаге.
- Бессарабов выбрался из люка по пояс и, перегнувшись вниз, увидел сержанта погранвойск ГДР.
- Гутен таг, геноссе зержант! Вас волен зи? – поинтересовался Румын и, выслушав ответ, объяснил ситуацию комбату. – Там какой-то майор армии Её Величества приглашает на переговоры нашего старшего офицера.
- Куда? – явно не понял комбат.
- В Вестминстерское аббатство, – пошутил Бессарабов.
- Куда?! – слегка опешил майор Богданов.
- Если серьёзно, к реке, где берег соединяется с границей. Туда есть дорога и по их территории, и по нашей, – пояснил Румын.
- Какие переговоры? – возмутился комбат. – Мы что, находимся в состоянии войны с Соединённым Королевством?
- Ну, этого я не знаю, – теперь растерялся Бессарабов. – Вам виднее...
- Ладно, разберёмся, – решил комбат. – Со мной поедешь, Румын.
- Зачем?
- Будешь переводить, я немецкого не знаю, – пояснил Богданов.
- Так они же англичане, – уточнил Бессарабов.
- А мне до фонаря, я и английского не знаю, – отрезал комбат.

- Так и я английского не знаю, – признался сержант.
- Будешь говорить по-немецки, мне по хенде хохоу, они в Германии находятся, пусть учат язык.
- Как же вы в Конго служили, товарищ майор, не зная английского?

– Ты, Румын, в международной политике разбираешься, как пингвин в ананасах! В республике Конго говорят на языке конго и на французском. Французского я не знаю, а на языке конго с англичанами говорить не собираюсь, я ещё не выжил из ума. И хватит болтать – вон они уже поехали. Ты посмотри, у них каждый задрипанный майоришка имеет служебный автомобиль. У нас только у командира полка и особиста есть «Волги», да у начальника штаба – «УАЗ».

Сержант Бессарабов посмотрел в сторону границы и увидел, как из полосы дыма на сопредельной территории выезжает открытый джип с двумя английскими офицерами.

- А мы с вами на чём поедем, товарищ майор? – поинтересовался Бессарабов.

– На нём – родном, – Богданов хлопнул ладонью по башне танка. – Нам с тобой до личных автомобилей, как медным котелкам до ржавчины...

Через десять минут на берегу Эльбы состоялась историческая встреча советских и английских войск. Оставив автомобиль в пятидесяти метрах, британские офицеры подошли к границе пешком. Майор Богданов не клюнул на эту лживую дипломатию и крикнул механику танка: «Дуй прямо к колючке». Механик «дунул» и остановил машину только тогда, когда ствол танка находился уже на территории ФРГ, затем снизил обороты двигателя до минимума, чтобы не мешать переговорам. Богданов и Бессарабов остались сидеть по-походному на башне танка, возвышаясь над головами британцев. Видно было, что эта ситуация доставляет майору Богданову истинное наслаждение.

- Ну-ка, спроси у них, Румын, они по-немецки шпрехают или мы зря приехали, – приказал комбат.

- Иншульдыген зи битте, херр офицер... – начал было Бессарабов.

– Совсем спятил, Румын? – прервал его майор Богданов. – Какого хрена ругаешься? Они же нам ещё ничего плохого не сделали. Ты спроси, они по-немецки говорят или нет.

- Всё нормально, – вдруг произнёс один из англичан. – Мы немного знаем русский.

- Русский надо знать хорошо, – назидательно произнёс комбат. – Чего хотите?

– Мы просим вас заглушить двигатели танков, – миролюбиво сказал тот же британский офицер. – Мы не можем дышать из-за дыма. Если что-то случится, их можно быстро завести опять.

Майор Богданов попал в сложную ситуацию. Объяснять вероятному противнику, что половина танков батальона имеет неисправности в системах запуска двигателей воздухом и, как следствие, севшие аккумуляторы, он не имел права. К тому же он прекрасно помнил, что сегодня с утра на противоположном берегу некоторые машины пришлось заводить при помощи буксира. Устраивать такое же представление вблизи границы и веселить натовцев он не хотел.

Положение, в котором оказался комбат, оценил и сержант Бессарабов, а потому поспешил на выручку командиру.

– Это что же, они нам будут указывать, как нам учения проводить, товарищ майор? – вскричал Румын. – Да я их сейчас одной очередью из пулемёта срежу. А потом в их «бобик» залеплю фугасным снарядом так, что он под Франкфуртом-на-Майне приземлится – и то в виде запчастей. У нас там обед скоро, а мы тут с этими империалистами время теряем.

Речь Бессарабова комбату понравилась. Это было видно по выражению лица Богданова. Видимо, это разглядели и англичане. Как только комбат повернул голову в сторону люка наводчика, «империалисты», не прощаясь, быстрым шагом пошли к своему автомобилю.

– Ты озверел, Румын? – понизив голос, прошипел майор Богданов. – Третью мировую войну решил развязать?

– Можете говорить нормально, товарищ майор. Они уже около своей машины, – отозвался Бессарабов.

Комбат повернул голову обратно и вздохнул с облегчением: «Ну вот и пообщались». После чего без малейшей паузы напустился на них в чём не повинного механика: «Разворачивай этот гроб, клоун! И смотри, границу не зацепи! Ты бы ещё до Бонна доехал, тракторист!»

Танк, обиженно взревев мотором, дал задний ход, потом развернулся и повёз парламентёров обратно.

Этой же ночью, после отбоя, выйдя из палатки по нужде, проходя мимо навеса временной столовой, Бессарабов увидел небольшой костёр и сидящих за столом офицеров батальона. А подойдя ещё ближе, услышал окончание рассказа комбата: «...И тогда Румын как заорёт: «Да я сейчас к ним через колючку перепрыгну и зубами их – капиталистов загрызу. А их “бибику” сюда перегоню и на “дембель” на ней поеду!». Он ещё кричал, а англичане уже скакали на своей машине по кочкам... Голос майора Богданова заглушил хохот офицеров.

Бессарабов пожал плечами и пошёл дальше. Однако пройти незамеченным не удалось. Его окликнул комбат: «Румын, это ты там бродишь, как тень отца Гамлета? А ну иди сюда!» Пришлось подойти. От взгляда сержанта не ускользнуло движение руки, которым зампотех Таранов убрал со стола 750-граммовую бутылку водки, так называемый «фаустпатрон».

– А ну-ка, поведай отцам командирам о своих успехах на дипломатическом поприще, – дружелюбно попросил комбат.

– А зачем два раза пересказывать, товарищ майор? Вы всё правильно рассказали, так всё и было. Я слышал, проходя мимо.

– Слушай, Румын, – озабоченно произнёс майор Богданов, – а чего ты в последнее время какой-то, как в воду опущенный?

– А какой я должен быть? – не выдержал психологической нагрузки Бессарабов. – Как в космос отправленный? Если я плавать не умею и с детства воды боюсь, а вы меня то с грузом на дно бассейна кидаете, то в танке топите.

На минуту над столом повисла гнетущая тишина. Прервал её комбат. Покопавшись в своей командирской сумке, он достал лист бумаги и шариковую ручку. Передав всё это Бессарабову, он безапелляционно изрёк: «Сейчас я буду диктовать, а ты будешь писать, и совместными усилиями мы вернём Родине нормального боевого сержанта. Пиши: “Командиру третьего батальона майору Богданову от сержанта девятой роты Бессарабова. Заявление. Прошу посодействовать моему переводу в наводчики оружейной башни любого калибра на любой корабль любого военно-морского флота Советского Союза. Число. Подпись”».

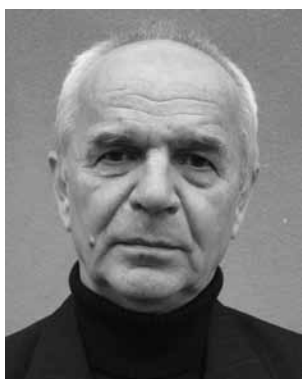
При слове «корабль» Румын прекратил писать и, подняв голову, окинул ошалевшим взглядом сидящих за столом офицеров. Все они давились от смеха. Полную серьёзность сохранял только майор Богданов. Бессарабов поднялся со скамейки, смял в руке злополучный лист бумаги и, чувствуя, что его подбородок дрожит от возмущения, сказал: «Да я лучше завтра на боевых стрельбах в ствол собственного танка загляну в момент выстрела, чем подпишу это заявление! Мало того, что я полтора года по всем полигонам “Ура!” кричал, вы хотите, чтобы я ещё полтора года по всем морям орал: “Полундра!” Да скорее море ко мне сюда само придёт, чем я хоть один шаг в его направлении сделаю!»

Произнеся эту тираду, Румын бросил в костёр смятое заявление и, почему-то пошатываясь, пошёл в сторону туалета. За спиной грохнул смех офицеров. Бессарабов шёл, согнувшись, ожидая окрика майора Богданова. И вдруг, смывая с души напряжение последних дней и неприятный осадок, оставшийся после разговора, из-под навеса раздалось безостановочное хрюканье комбата, традиционно переходящее в повизгивание, находящееся за гранью морали и звучавшее как общественный вызов...

Продолжение следует



Владимир ПЕНЧУКОВ



Получите - распишитесь

Рассказ

Валерка вошел в ванную комнату... разделся... открыл кран. Струя холодной воды саданула в рыхлое тело застоявшейся тишины.

– Вы ещё попляшете у меня! – вслух пообещал он кому-то.

Пожелтевшие от времени стены, аккуратно выложенные ровными квадратиками кафеля, равнодушно приняли слова угрозы.

А вода шумит и пенится, извергая из жерла водопроводного крана грохот предстоящей экзекуции.

...Заводской клуб. Собрание формовочного цеха...

Валерка пришёл чуть раньше. Порывшись в карманах, нашел трёхкопеечную монетку и направился к автомату с газированной водой. И тут – Женька: смазливый юноша с пухленькими, розовенькими, как у девушки, щеками.

– Фу-у... как в сауне, – с шумом выдохнул он. – Я тоже попою. Хочешь? – И протянул Валерке конфету «Мишка на севере». Валерка мотнул головой – отказался.

– Напрасно, – съязвил Валерка. – Вспотеешь. – И отстранил Женькину руку с конфетой.

– А ты?.. Не вспотеешь?..

– У меня, пышка, сала поменьше твоего.

Женька с тайным вождением посмотрел на своего приятеля: кряжистого с густой щеткой чёрных волос атлета.

Валерка и Женька работают в одном цехе, формовочном, в одной смене и даже на одном станке. Валерка – первый номер, Женька – второй. Его помощник.

– Ну и как, не боишься? – Женька опорожнил свой стакан и облизнул сладкие от сиропа губы. Очень выразительно облизнул.

– Кого... Павлова? – усмехнулся Валерка. – Не на того нарвался.

– Ну-ну... смотри... Грозился в порошок стереть.

– Мало каши ел твой Павлов.

– Напрасно ты так. Если захотеть, можно прилично заработать у него. Я вот три смены повкалывал сверхурочно и купил себе джинсы. И не самопал какой-нибудь, заметь, а самые что ни на есть настоящие. Фирменные. Сто рэ отдал фарцовщику. О, видал! – Женька повернулся к Валерке тылом и похлопал пухлой ладонью по своему широкому, круглому заду, обтянутому темно-синим коттоном. – «Вранглер»!

– А без сверхурочных, купил бы?

Женька пожал плечами.

– Да ну тебя! – Надул он свои пухленькие губки. – Что я, ворую?.. Сам знаешь, я эти рубли горбом и потом вышибаю.

– Вышибаю... Зашибаю... А Павлов таких зашибальщиков-вышибальщиков нормальным людям в пример ставит.

– Ну и что? – осторожно не согласился Женька.

– Дураки, вот что.

– Дураки-и... Смотри, на собрании это не ляпни. И вообще, чего ты петушишься?..

– Петушиться – это совсем про другое.

– Да ладно тебе... – На лице напарника выступили красные пятна. – Я краем уха слышал, что ты в институте хочешь учиться. Так да?

– Опоздал спросить. Я уже диплом на истфаке защитил. Заочно.

– Тю-у!.. А чего ж помалкивал? Не сегодня-завтра слиняешь, а из-за каждого пустяка в бутылку лезешь.

– «Пышка», я не линяю. Я просто не хочу быть временным. Ни здесь, ни где бы то ни было.

– Чем умничать да корчить из себя праведника, лучше подумай, как будешь выкручиваться.

Хлопая массивной дверью, в фойе поодиночке и группами входят рабочие формовочного цеха. Сто лет мак не родил, и голода не было, – думают они про это собрание. Но явились все как один. Иначе... начальник цеха грозился снять прогрессивку.

– Ладно, я подумаю. А ты иди. Иди.

Валерка бесцеремонно развернул напарника и наподдал ему коленкой под зад. «Ишь, какая мягкая... как у девки хорошей...» И стыдливо – по сторонам... Поймав себя на чём-то необычном, что так неожиданно выскочило из армейской жизни, он испугался... и, будто оправдываясь, скорчил брезгливую физиономию: «Тьфу!.. срань господняя...»

– Да ну тебя!.. Я совсем не то хотел сказать, – обиделся Женька: уловил последнее выражение лица своего друга и, медленно оглядываясь через каждые два-три шага, побрел в зал.

Валерка криво усмехнулся, глядя на женоподобную фигуру напарника, на его виляющий при ходьбе зад. Подождал, когда тот скроется за дверью, и только тогда пошел следом. «В понедельник скажу, пусть ко всем чертям убирается...» – решил Валерка и потянулся к дверной ручке.

И тут... Дверь сама распахнулась, и на него со всех ног налетела стройная, белокурая девушка...

– Ой!

Валерка поднял голову – Валя, табельщица цеха.

– Чуть лоб не расшибла. Давай ещё потихоньку стукнемся, а то поругаемся, – оправившись от испуга, весело протараторила она, но тут же с тревогой добавила: – Я уже волноваться начала. Вижу: Женька вошел, а тебя нет.

Валерка поцеловал её в лоб.

– Уже не болит?

Валя мотнула головой...

... посмотрели друг на друга, и улыбнулись.

– Не страшно. До свадьбы заживет.

– Молодец. Давай куда-нибудь вечером сходим, а?.. Сегодня. Можно в кино, можно и в кафе. Я угощаю.

Валя сморщила носик и мотнула головой.

– Сегодня никак, сегодня мои в деревню уезжают. К своим. Надо помочь собраться.

– Надолго?

– До понедельника. Рано утром, с первой электричкой – домой.

– Ух, ты!.. Здорово!.. – Валерка и не пытался скрыть свою радость. – Вот это да-а...

– Ты так засиял, будто премию получил или машину в лотерею выиграл.

Валерка – к Вале... Но та проворно отскочила, едва он попытался обнять её. И юркнула в дверь.

В зале – густая духота.

Собрание ещё не началось. В первом ряду, перелистывая прошлогодний «Крокодил», сидит Павлов, заместитель начальника цеха.

Валерка перекрыл воду, набрал полные лёгкие воздуха, и... в тысячу штыков ледяная купель приняла молодое, здоровое тело. Секунда... другая... десятая...

... и уже можно расслабиться.

... Не было печали, так черти накачали: по громкой селекторной связи Валерку неожиданно вызвал к себе начальник цеха. «Семенов, срочно зайдите в кабинет к Зуеву».

Формовка как чистилище для всех инженеров завода. Чуть кто не угодит директору, так сразу – в начальники формовки. На выучку... или перевоспитание. И уже оттуда, если повезёт – на прежнее место... или на повышение. Или, что гораздо чаще случалось – на ступеньку вниз. Никто долго не задерживался. И только Павлов, как над Волгой утёс... никто и не помнит, когда он занял этот свой пост. Старый конь борозды не портит, – каждый раз рекомендовали его всем новым начальникам и советовали прислушаться к его словам. Нынешний начальник, Зуев – особый случай. Зуев сам напросился в формовку. И даже заверил директора, что скоро сделает этот цех самым престижным на заводе, куда рабочих будут принимать по строгому и очень жесткому отбору. То же самое сказал и на собрании цеха. Работяги слушали его, усмехались, – мели Емеля, твоя неделя.

Кабинет начальника. За столом – хозяин. Импозантное, с правильными чертами волевое лицо... густые русые волосы на пробор... С такой внешностью в кино героев-любовников или суперменов играть, а не формовкой заправлять. Сидит, газетой обмахивается. Душно. По бокам от стола – Павлов и редактор заводской многотиражки. Павлов... серый спецовочный халат... лысина во всю голову... лицо землянистого цвета, измождённое – выработанное... узкие покатые плечи... пивной животик. Уверенно, будто он хозяин кабинета, откинулся на спинку стула, заложил ногу за ногу. Редактор – как новобранец в каптёрке у старшины, сидит столбиком: спинка прямая, ножки под стулом скрестил, ручки на коленях.

Валерка ступил через порог и замешкался: не ожидал такого внимания к своей персоне.

– Проходи, проходи, Семёнов. Смелее. – Зуев поднял голову, снисходительно улыбнулся и указал рукой на стул у дверей кабинета.

Валерка сел. Зуев взял со стола листы синей потребительской бумаги.

– Твоя писанина?

Валерка узнал свою статью «Сколько стоит одна смена?»

– Вы её читали?

– Читал...

Павлов и редактор молчат. Зуев улыбнулся.

– Ну что я могу сказать, – хорошо поставленным голосом нараспев заговорил он. – Сердито... ничего не скажешь... Правда, я тут исправил кое-какие грамматические ошибки... ты уж прости меня за бестактность, но... – И посмотрел на редактора многотиражки. Затем перевел взгляд на Валерку. – Не видно знания материала, глубокого анализа и специфики нашего производства. Ты когда-нибудь слышал такие слова, как «поставщики» и «смежники»?.. Нет?.. То-то. А взялся блоху подковать да всё по полочкам раскладывать.

– Поставщики и смежники – ваши проблемы, за это вы деньги получаете. Вы же знали, на что шли, когда сами напросились к нам. Или не так?.. И ещё я знаю, что цех должен работать без сверхурочных. В обкоме партии тоже так думают. Так что, получите и распишитесь.

– Откуда ты знаешь, что там думают? – насторожился Зуев.

– Да уж знаю, – усмехнулся Валерка.

– Может, в обкоме и думают так, – осторожно, подбирая каждое слово, вымолвил Зуев. – Но вот ты, – он кинул быстрый взгляд на Валерку и укоризненно покачал головой, – думаешь не по-семейному. Вот и редактор, я вижу, согласен со мной. Он у нас на заводе человек новый и потому к нам пришёл посоветоваться. – Зуев с благодарностью посмотрел на молоденького журналиста. – Зачем же выносить сор из избы?

– Чтоб чисто было, – быстро нашелся Валерка. И заверил. – А если надеетесь, что заберу статью – пустые хлопоты. И будет она напечатана или нет, пусть он решает. – Валерка кивнул на редактора. – Надо же ему как-то оправдывать свою зарплату. Или вы собираетесь и ему рот зажать? В конце концов есть инстанции повыше.

Редактор заёрзал на стуле.

Валерка посмотрел на Павлова. Тот, насупившись, молча сидит рядом с начальником цеха и бестолково перелистывает настольный календарь. На какой-то миг в кабинете стало тихо-тихо, как в музее. И только легкое дребезжание стекол в окнах напоминало, что где-то рядом бухают массивные станины формовочных агрегатов.

– Спросите у Павлова, согласен он с тем, – Валерка кивнул на свою статью, – что там написано или нет?

– Алексей Васильевич не согласен, – быстро, будто давно ждал этого вопроса, ответил Зуев. И, чуть подумав, добавил: – Все мы люди, все мы человеки.

– Понятно, – скривил губы Валерка. – Кишка тонка.

Павлов вскочил. Но...

– Алексей Васильевич, – спокойно осадил его Зуев.

Павлов пожал плечами и сел.

– А не рано ли ты начал судить о работе цеха, а, Семёнов? – всё ещё надеясь переубедить Валерку, спросил Зуев. Круглое, массивное, как мельничный жернов, слово «обком» дамокловым мечом зависло над его головой. Именно там, во всемогущем обкоме утверждают ордера на квартиры итээровцам. А сейчас, когда у руля стал бывший кэгэбист Андропов, любая мелочь может обернуться полным крахом. «Щенок... знает, как укусить. И укусит. Попробуй потом докажи, что ты не верблюд».

Валерка будто почувал страх оппонента.

– Нет, не рано. Это при Брежневе можно было показухой заниматься, а сейчас, когда твёрдая рука указала, куда надо двигаться... Очки втирать – всё равно что плевать против ветра. Себе же дороже выйдет. Подайте. Сами видите, кто у нас работает: бывшие зэки и рвачи. Они день прогуляют, выспятся всласть, а потом три дня по две смены гонят, и вы им за это вдвойне платите.

– Эти рвачи мне план делают, – сердито буркнул Павлов, с тоской подумав о годах брежневского застоя. – Может, и прогуляют когда, зато их не надо упрашивать, как тебя, кляузника, поработать в выходные дни, когда это цеху надо.

Валерка встал.

– Меня работа ждёт.

– Вы ещё молоды, Семёнов. – Зуев перешел на «вы». – Не надо забывать, что перед вами человек. И к тому же пожилой.

– В трамвае я всегда об этом помню.

Зуев пожал плечами. «Щенок!.. И угораздило ж такому в моём цеху работать...Чтоб тебя приподняло да шлёпнуло»... но тут же собрался и вымучил улыбку.

– А может, тебе в университет поступить, а?.. На журналиста... А что, с тебя выйдет толк...

– А бестолочь останется, – усмехнулся Павлов.

– С грамматикой, правда, слабовато у вас... ну да ничего, и медведя учат на мотоцикле ка-таться.

– Зуев повернулся к редактору. – Как вы думаете? – Тот кивнул. – Ну вот видишь, ларчик-то просто открывается. А то ломаем тут копыя по пустякам... – И подмигнул Валерке. – Я же вижу: тебе не с руки тут у нас... и тесно, и неинтересно. Согласись, дело говорю. И характеристику подобающую тебе... вам сочиним. Выучишься, человеком станешь... диплом получишь. – Зуев сбивался, обращаясь к Валерке то на «вы», то на «ты», ловил себя на этом, комплексовал и уже не знал, как закончить этот разговор. Что-то заставляло его быть начеку: «А этот прощелыга умеет держать нос по ветру».

– Опоздали. У меня уже есть диплом. Этой весной защитился.

– Теперь будете знать.

Валерка – из кабинета. Задиристая трескотня обрубочных зубил, грохот формовочных станков, частая дробь выбивки, шипящий клекот пневматических трамбовок, едва слышные за толстыми стенами Зуевского кабинета, нагло и наотмашь саданули по барабанным перепонкам. В нос ударил кисловатый запах окалины и паленой формовочной земли.

До конца смены еще два часа.

– Чего он там? – Женька кивнул на дверь в кабинет начальника.

– Да так, мелочи жизни, – отмахнулся Валерка. – Цепляй опоку. Сколько ещё осталось?

– Пять. – Женька рукой показал на стопку стальных опок.

Валя...

... подбежала. В глазах – тревога.

– Привет, мальчики. – И повернулась к Валерке. – Зачем вызывали?

– По ошибке. Думали, что я – горшок. – Валерка усмехнулся. – Приценивались. – И, облапив девушку за плечо, сильно сдвинул.

– Да ну тебя! – Она дернула плечиком. Валерка отпустил её. – Вечно ты меня за дурочку держишь.

Обиделась и отошла.

– Надулась, – Женька кивнул на Валю.

– Обойдётся, – отмахнулся Валерка.

– И то так, – повеселел Женька. – Одна морока с этими девками.

Валерка убрал руки за спину, чтоб не двинуть своего напарника в лоб: уж очень хотелось.

– Ну, чего лыбишься?.. Давай работай.

Сделав дневную норму, Валерка и Женька принялись подбирать формовочный грунт, просыпанный вокруг машины.

– Ловко мы сегодня, а!.. Самые первые, – торопливо орудуя лопатой, радостно улыбнулся Женька. – Хотя разок спокойненько в душе искупаемся. У меня импортное мыло есть. Арома-а-ат!..

Валерка промолчал.

В проходе цеха – Павлов. Быстрыми шажками – к станку.

– Что, умник, в баню торопишься?.. Норму сделал?

– Сделал.

– Меняй модель.

– Пусть слесаря шевелятся, это их забота. Или они уже того?.. – Валерка щёлкнул по кадыку. – Остались?

– Ты говори, да не заговаривайся, а то... – пригрозил Павлов.

Поменять модель – плёвое дело. Работы на пятнадцать, от силы на двадцать минут, и формовщики, если у них оставалось время до конца смены, легко и безропотно проделывали эту операцию. А слесари – белая кость, окончательно отбившиеся от рук, появлялись в жарком и пыльном цехе только в случае серьезной поломки, когда без них ну никак...

– Ну что стоишь, глаза вылупил? Делай, что велят.

– Да пошел ты! – выкрикнул Валерка.

– Куда? – Павлов прищурил глаза.

– На хутор бабочек ловить, – усмехнулся Валерка.

Павлов побагровел.

– Куда-куда?..

– Тянуть кобылу из пруда. Я за узду руками, а ты за хвост зубами.

– Что?! Меня!.. Да я тебя!.. Сопляк! А ну давай, пошевеливайся!.. Засранец. Я ещё разберусь с тобой. Вот где ты у меня! – Павлов ребром ладони ударил себя по загривку. – Давай, быстренько... новую модель для сменщиков.

– Тогда вперед и с песней. – Валерка сделал выразительный жест рукой, дескать, хотите менять – меняйте.

– Что-о-о?! – На большее Павлова не хватило.

– То самое. Глухим два раза молебен не служат.

– Да я... да я... Да я тебя...

И пошло-поехало. Павлов кричал на Валерку, Валерка – на Павлова. Нашла коса на камень. И уже ни грохота, ни стрекота, ни буханья... Вся смена... даже литейщики отошли от вагранок и сборщики остановили конвейер, выстроилась полукругом, а перед ней, словно два петуха на птичьем дворе, громко кричали и отчаянно жестикулировали помощник начальника цеха и молодой формовщик. Часы над конторкой мастера ещё не досчитывали тридцать минут до конца смены, а цех уже стал, будто разыгравшийся скандал запрограммирован самым высоким руководством завода...

– Во дают!.. Во дают! – комментировали перепалку работяги.

– В тихом омуте черти водятся.

– Ну Семёнов!.. Ну рысак!..

– Да разнимите же их – подерутся.

– Ну и пусть. Подумаешь! Не всё ж языками чесать.

– В натуре, кенты... Пора и кулаками попробовать.

Павлов вошел в раж: схватил лопату, замахнулся, и – на Валерку.

– Убью, пидарас вонючий!

«Но! Но! Но!..» – протестующий ропот в толпе.

Валерка вздрогнул, будто его поймали на горячем, но тут же метнулся к Павлову, выхватил лопату и, изловчившись, заломил ему руку за спину.

– Я тебе что, в баньке спинку тёр?.. дурак ты старый. – Лицо Валерки исказилось в яростной гримасе.

– Пусти, милицию позову! – задыхаясь от боли и злости, прошипел Павлов. – Пусти, кому сказал! С работы выгоню... Пусти, бандит, руку ломаешь.

– Ну и хрен с ней, с рукой твоей, – Какое-то время Валерка яростно боролся с желанием покалечить Павлова... но совладал с собой. Зло усмехнулся и с силой двинул заместителя начальника цеха коленом под зад.

Павлов, спотыкаясь, отлетел на несколько шагов. Но не упал.

– погоди... Я этого так не оставлю, – со злостью и обидой пообещал он и быстро засеменил к выходу, потирая рукой ушибленное место.

В коридоре клацнул замок и хлопнула дверь. Сестра пришла – догадался Валерка. Провёл мокрой ладонью по лицу... Прикрыл глаза:

...дед Матвей глянул ему в очи... и будто на помощь позвал. Валерка нырнул, открыл глаза. Дед исчез. Вместо него, сквозь тонкий слой воды, прямо в глаза – сохнувшее на верёвке бельё сестры. «Хоть бы постыдилась тут развешивать свои причиндалы, – сердито подумал он. – Устроила тут вернисаж...»

– А что говорить? Спрашивайте – отвечу. – Валерка с вызовом посмотрел в зал. – Рыба с головы гниет. Да и что это за цех, если в нем ни начальник, ни его заместитель не члены КПСС. Какая-то «малина», а не производство.

– Семёнов, – Зуев повернулся к Валерке. – Лучше скажите, почему вы постоянно скандалите с Павловым, а вчера и до драки дело дошло?

– А он до каких пор будет грубить? – Валерка посмотрел в глаза начальнику.

Зуев отвёл взгляд.

– Мальчишка, – усмехнулся Павлов. – На заводе без году неделя, а уже умничаешь.

– Вы мне не «тыкайте», Алексей Васильевич, – перегнувшись через трибуну, тихо, но четко, чтобы все слышали, проговорил Валерка. – Тыкайте тем, кому даете рубли и трешки на опохмелку, да кому сверхурочные подбрасываете.

Словно ковш расплавленного чугуна плеснули под стул Павлова.

– Сопляк! Молод ещё мне, указывать! – взвился он.

И уже по всему залу – лава раскалённого металла.

– Ты бы полегче, сосунок!

– Откуда ты такой, парашник?

– Фильтруй базар, маслбой!

– Тебе хорошо, ты холостяк, а нам семьи надо кормить.

– Попался бы ты мне на зоне, я б тебя...

– Да такой, век воли не видать, что тот иуда Павлик Морозов... и батьку на кичу сдаст, и родную мать в трамвае оштрафует.

Павлов, уловив настроение зала, успокоился: сел, закинул ногу за ногу и с видом победителя огляделся по сторонам. И даже плечики расправил.

– А ты, я вижу, готов тут всех обляпать грязью, не только меня. Щенок.

Валерка усмехнулся,
 – Пусть извинится Павлов.
 – Ну да, буду я перед тобой извиняться... Молокос. Да будь моя воля...
 – Бодливой корове Бог рога не дал, – усмехнулся Валерка.
 – Семёнов! – Зуев хватил кулаком по столу. Грохнул так, что стакан подскочил и стукнулся о графин с водой.

...Валерка протянул руку, взял с полочки песочные часы... «Ого!.. Хватит». – И дернул за цепочку – вынул пробку из сливного патрубка. Послышался легкий шум воды. Потом всё громче и громче... «Да ладно, хрен с ними!.. Что хотели, то и получили». – Валерка плюнул в воронку водоворота. Плевков тут же раздробился, рассыпался на множество мелких пузырьков, а через секунду-другую вновь сконцентрировался, но уже столбиком, и, вытянувшись длинной ножкой гриба-поганки, нырнул в сливное отверстие. Валерка плюнул ещё раз. И второй плевков – туда же: со зловещим клекотом остатки воды увлекли его в небытие. «С таким характером и грыжу не долго схлопотать, – выплыл из прошлого Валеркин дед Матвей. – Я и то не сужу твоего отца... хоть он всего лишь и зять мне. Чужая душа – потемки. Пусть сами с твоей матерью разбираются. А ты сразу... иудой его обозвал. Негоже так, негоже. Отец он тебе, а не дядька чужой. Так что подумай, пока не поздно. Хорошо подумай. Уйми, переломи свою гордыню. Другие начнут ломать – хуже будет. Запишишь, как уж под лопатой».

Тогда Валерка ничего не ответил деду. Просто невзлюбил его, да и всё. Молча невзлюбил. «Много ты понимаешь, старик. Жил, жил, а ума так и не нажил». Уже сколько лет прошло?... пять?... да пять, и даже с хвостиком, столько же, сколько день в день он истязает себя в холодной ванне, а всё – будто вчера. «И утонул ты по дурочке... Тот алканавт даже «водяному» и на фиг не нужен был, отпустил, а ты ринулся за ним... Хоть бы плавать умел как следует».

Тот злополучный мартовский день, когда лёд только-только сошёл с реки, Валерка изо всех сил пытается забыть, да куда там!.. деда уже не вернуть. Ну никак. Не выходило и оправдать себя. И откровенно признаться в слабости и трусости тоже не получалось. Досада и злость на себя и на деда – тоже через край... «И чего я, дурак, согласился поехать с ним на рыбалку!.. Не хотел же...»

Зуев поморщился, украдкой потёр ладонью кулак. Переборщил сгоряча. Будто чужой рукой ударил по столешнице. «Теперь хоть локоть кусай. Надо было ещё в институте в партию вступить. Тогда куда как проще было. А теперь... жди, когда трое работяг надумают. Квота, мать её!..» Тоскливым взглядом повёл по залу. Ничего нового, всё то же самое: и жирная, ещё с прошлого года паутина на второй люстре справа, и на люстре слева, как и год назад, а может, и больше, разбитый плафон, и черная, застарелая копоть на падухах по всему периметру потолка...

Тоска усилилась. Взглядом прошёлся по стенам. На стене, напротив от входных дверей – галерея портретов членов политбюро. Сытые, самодовольные лица властьпридержащих обещают счастливое будущее. Остановился на аскетическом лике бывшего шефа КГБ, а с недавних пор генсека Юрия Владимировича Андропова. Криво усмехнулся. «Порядок он наведёт... Чёрта с два. Как жили на раскорячку, так и будем... Хоть полстраны пересажай».

– Прошу прощения, – прервал тишину Валерка. – У него же и научился. – И показал на Павлова. – Только и может, что мать-перемать... Других слов и не знает. Тоже мне, руководитель!.. Его послушать – хлеб зачерствеет. Отсюда и текучка кадров, и, как следствие, сверхурочные.

– Ну и что вы предлагаете? – перебил Валерку Зуев. – Недостатки подмечать – дело нехитрое. Вы предложите что-нибудь конкретное, рациональное. Можете?

– Легко.

– Ну и...

– Павлова убрать с завода.

– Как? – поднял брови Зуев.

– Очень просто. Как хлам.

– Дождался... И это за всё хорошее... – пробормотал Павлов и с испугом посмотрел по сторонам. – Да как же я без завода-то буду, а?

– То есть как это – убрать Павлова? – удивился Зуев.

– Очень просто: с чужого коня среди грязи долой. Пусть другим даст поработать. Это же курам на смех: подойди ночью к заводским воротам, напиши мелом фамилию, а утром уже будешь оформлен в наш цех. Все знают, что Павлов выписывает по червонцу тому, кто приведет в цех нового работника.

Зуев смутился, виновато посмотрел на Павлова. Павлов перехватил его взгляд, усмехнулся. Зуев топливо отвернулся... и совершенно бессознательно стал рассматривать свои ладони.

– По-твоему, убрать Павлова, и дело в гору пойдёт? Так?

– Так, – безапелляционно заверил Валерка. – Он сознательно держит цех в напряжении.

– Сопляк!.. Молокосос!.. – взвизгнул Павлов. И запнулся – не смог придумать, чем бы ещё хлестануть обидчика... И вскочил. – А ну прочь с трибуны!..

И, едва не упав, зацепившись за край ковровой дорожки, выбежал на сцену.

– Да тебя, сосунок, ещё папка с мамкой не успели придумать, когда я принялся по кирпичику, по кусочку восстанавливать наш цех, да и весь завод. Посмотрел бы ты своими бесстыжими зенками, что осталось от завода после войны!.. Да я днями и ночами тут пропадал, пока не заработала первая вагранка... Ты сходи в заводской музей и посмотри на фотокарточки... – Павлов глянул на Валерку и с досадой махнул рукой: – Да что с тобой говорить!.. Спроси у любого ветерана, кто такой Павлов! А ты!.. Писака! Говоришь, ругаюсь с вами... Да как же не ругаться, если работать не хотите. Знаешь, сколько таких я поперевидал?

– Тем хуже для вас. – И посмотрел в зал: «Павлика Морозова они упомянули... Да что вы знаете про него... дебилы.

– Ху-уже... Для на-ас... Сотни таких как ты прошли через мой цех. А я как был, так и есть... так и буду. А ну пошел на... – Запнулся, но собрался и закончил. – ... с трибуны, сопляк! Яйца курицу не учат.

– Я вижу, Алексей Васильевич, вы так ничего и не поняли.

– Сам дурак! – по-детски огрызнулся Павлов.

И опять в зале тишина.

Зуев оторвал взгляд от своих мозолистых ладоней (мало кто знает, что в перерывах между сменами он часто работал как простой работяга – подготавливает фронт работы) и тихо, как бы самому себе, проговорил:

– Хорошо, Семёнов, тут есть о чем подумать. – И уже громче, чтобы все слышали: – Только не возомни себе, что у тебя одного душа болит о цехе.

Жарко на заводе, жарко и на улице. Ни ветерка за окном, ни облачка на небе. Давно уже не было такого пекла. Одни говорят – подобное лето случается раз в сто лет, другие космонавтов клянут, что те понасверлили дырок в небе, вот солнце и шпарит сквозь них.

Жарко и в зале. В первых рядах сидят усталые мужчины. Семь часов в горячем цехе – это не в тенёчке у пивной палатки с друзьями пивком баловаться. Сидят тихо, а если кто и вставит слово, то каждый – ёмкое, точное и сильное. Прозвучит, как удар кувалды по чугунной станине. Шумят новички, те, что на галерке. Их легко узнать по ехидным ухмылкам и по выкрикам: лимитчики и бывшие ээки. Формовка – режимный цех.

– И всё-таки Павлов лишний у нас, – упрямо повторил Валерка. И добавил. – Вот так-то, получите и распишитесь. Думаю, в обкоме партии меня лучше поймут, чем на этом шабаше.

И сошел со сцены...

...и – к выходу.

– Семёнов, вернитесь! – Голос Зуева... уже в спину.

– Скатертью дорожка!

– Зуб даю, фраерок в паханы намылился. – Голос из зала.

Вестибюль.

Валерка постоял немного... попил водички из сатуратора... толкнул массивную дверь.

Яркое солнце ударило по глазам. Валерка перешел на противоположный тротуар, где тощие тополя отбрасывали жидкие тени, и быстро зашагал к трамвайной остановке.

...Прохрипел телефон.

– Алло! – Голос сестры из комнаты. – Да, да, это я... кто ж еще... А сколько вас будет?.. Двое?.. Да нет, чего там испугалась... По мне хоть трое... По червонцу с носа за каждый раз, и хоть на всю ночь. Да нет, дешевле на вокзале, на шестой платформе ищите... Договорились? Только чтоб без кидалова, знаю я вас... Вот и ладушки. Ждите, скоро приеду... Да нет, зачем подругу, я сама... Такси за ваш счет... Ладно, ладно, кацо... не впервой... Ну, кацо не кацо, мне без разницы. Для меня вы все, семь раз не русские, на одну морду. – И уже во весь голос: – Валерка, ты что там, «щенят топишь»? Вылазь... мне труссы надо взять. Или открой, сама возьму, а то опять скажешь, что с голой сидущкой пошла.

«Шалава! – в сердцах выругался Валерка. – Хоть бы кто прибил её или задрюкал вусмерть, а то... и впрямь, испортит всю обедню. – И с досадой: – Дознаются в обкоме – пиши-пропало. И на порог не пустят, не то что возьмут на работу. – И грустно вздохнул, подумав о спецпайках с колбасой, бужениной и голландским сыром, которые каждую неделю в один и тот же день и час, хоть время сверяй, получает в пакете его армейский однокашник, а ныне рядовой инструктор обкома партии. – Ну нет... дудки... Зря я что ли три года партвзносы выплачивал!..»

– Да открой же ты, спешу! – Сердитый голос сестры.

Валерка обернулся полотенцем, откинул дверной крючок. Сестра Люба – халатик нараспашку. Под халатиком – ни единого лоскуточка белья. Вошла. Усмехнулась и, как ни в чём не бывало, сняла с верёвки крохотные, прозрачные трусики.

– Чего ухмыляешься? – Валерка перехватил её взгляд. – Хоть бы запахнулась...

– Подумаешь!.. – И быстрым движением руки сорвала с него полотенце. – Фи-и!.. – И скривилась... и бросила полотенце на пол. – Ты его скоро совсем отморозишь.

И, ничуть не стесняясь: ноги – в трусики. Надела, звонко щелкнула резинкой.

Валерка украдкой глянул на стройную фигуру сестры. Глаза зацепились за большую, высокую грудь. «Надо же!.. все благбазовские «зверьки» и «хачики» пропыхтели на ней, и не по одному разу, а буфера, как у целки».

Люба сделала глазки – перехватила его взгляд, и шаловливо колыхнула грудью.

Валерка отвел глаза. Люба безнадежно махнула рукой.

– Ладно, пошла я. Что есть ты, что нет тебя... Так, одна видимость.

– Дура! Я же твой брат!

– Ну и что? Подумаешь!.. – И подёрнула плечиками. – По мне, так хоть вождь мирового пролетариата... Для полного счастья можно и с братиком потереться животиками. Не мы первые, не мы последние. Почитай Аппуллея, темнота непроглядная, тундра непроходимая, может, поумнеешь. А если не комильфо – ноу проблем: накроемся простынёй, и не будешь видеть, сестра я тебе или Анжела Дэвис.

– Уйди, зараза! – выдавил Валерка, почувствовав прилив крови в паху.

– О!.. – Люба вскинула брови. – А ты, оказывается, ещё ничего!.. Да-а...

В кухне чуть слышно – радио: речь Андропова о наведении порядка в стране. Правильные, жесткие и безапелляционные фразы, совершая акт лоботомии, колючей проволокой вяжут сознание неокрепших умов.

А перед глазами...

... угроза непоправимого. Всего лишь шаг, даже полшага... можно рукой дотянуться. И даже надпись «под током» уже не преграда.

И...

...телефон.

Люба: пробкой – из ванной... схватила трубку.

– Алло! – Радостно... Но уже через секунду – совсем другим тоном, с досадой: – А-а... это ты, пухленький... приветик, приветик... Сейчас позову, раз тебе его так сильно надо.

Валерка торопливо укутал себя в полотенце и вышел в прихожую.

– Да... Я слушаю.

– Я вот чего звоню...Ты это... напрасно ты ушел. Павлову тоже досталось. Там какой-то член из парткома завода закатил речугу. И статью твою зачитывали. Здорово ты это придумал. Думаю, теперь Павлову несдобровать. Так ему и надо.

... и замолчал.

– Долго будешь сопеть? Давай, рожай, что там у тебя ещё... Мне некогда. – И мельком глянул на сестру: та уже оделась и стоит перед зеркалом – губы красит.

– Зачем ты скрывал, что скоро в обком партии пойдешь работать? Павлов, когда услышал об этом, за сердце схватился. «Скорую» вызвали. Я выскочил вслед за тобой, а ты даже не оглянулся. И Валька твоя тоже... Чего она к тебе пристала?

– Не знаю. Спроси сам у неё.

– Ладно. Это я так... Я вот чего звоню... пойдём на футбол?

– А кто играет? – спросил просто так: сегодня ему не до футбола.

– Ну ты даёшь?! – Женька повеселел. – Кубковый матч. Полуфинальный. Билеты – пальчики оближешь. Западная трибуна, пятый ряд.

«Пятый ряд. – Валерка усмехнулся. Грустно усмехнулся. – И тут пятый ряд».

Билеты на западную трибуну стадиона «Металлист», да ещё в пятом ряду, как настежь распахнутая дверь в недалёкое прошлое... нехорошее прошлое...

Нехотя, со стыдом и грустью Валерка ступил через порог...

«Сынок, я билеты на футбол купил. Пятый ряд на западной трибуне, какие ты любишь. – Голос отца из далёкого прошлого. – Встретимся у выхода из метро. Чего молчишь?»

«А что тебе сказать?.. Сам иди».

«Ну как же... второй билет пропадет».

«Можешь свою лахудру взять. И вообще, не звони мне больше».

«Сынок, зачем ты так? Будто не знаешь, почему я ушел от твоей матери...»

«И знать не хочу. Это из-за тебя моя сестра шлюхой стала. Не знал про это?»

«Я не бросал вас».

«Скажи кому другому... Ладно, хватит. Вот увидишь, и твоя новая тебе рога наставит. А может, и уже... Ты – на футбол, а она для другого ноги раздвинула... И поделом тебе...»

«Спасибо тебе, сынок».

«Не за что, папуля. Пока. Будь здоров, не кашляй».

... – Алло, алло, Валерка. Куда ты пропал?

– Я здесь, – тряхнув головой, Валерка с болью и кровью вырвал себя из прошлого. – Чего тебе надо, Евгения?

Спросил и даже не заметил, что назвал своего напарника женским именем.

– Что ты хочешь этим сказать? – мягко проворковал Женя.

– Да так, ничего особенного. Просто хотел спросить: ты служил в армии?

– Да. Конечно. В роте охраны. А что?

– Так, ничего. Я тоже два года: через день на ремень – бомбовые склады охранял.

– Вот видишь, – радостно воскликнул Женя. – Рыбак рыбака видит издалека.

– Да пошел ты на... – прокричал Валерка, поняв недвусмысленный намек своего напарника, и бросил трубку. Единственный сексуальный контакт с солдатиком-первогодком, в караулке по пьяной лавочке, не доставил ему особого удовольствия, даже если учесть двухлетнее воздержание, но запомнился надолго. Запомнился... и оставил шлейф чего-то таинственного, щекочущего воображение... и манящего.

Немного успокоившись, начал быстро накручивать диск телефона. Услышав знакомое «алло», заулыбался.

– Привет, Валёк.

– Мы уже виделись сегодня.

– Что так мрачно? Это я – Валерка.

– Да уж ясно, что не Алеша Карамазов.

– Ты что, обиделась? Я, честное слово, не видел, как ты выбежала за мной. Хоть бы крикнула. Ну брось ты обижаться, Валёк. Мне сейчас не до этого.

– Мне тоже, – обрubiла Валя.

Пи... пи... пи... запищала мембрана.

Валерка пожал плечами и вновь набрал Валин номер.

– Кончай дурачиться. Предки уже уехали?

– Да.

– Классно! Я сейчас... жди.

– Можешь не торопиться.

– Да что с тобой?

– Ничего, – помолчав немного, отозвалась Валя. – Тебе, я вижу, плевать, что Павлов сутками пропадавал на заводе, когда собирал его после войны.

– А-а-а... вот ты о чём! Честь и хвала ему. Самое время идти на пенсию и писать мемуары. Сейчас это модно. Пишут все. Даже футболисты взялись за перо.

– Вот ты какой! Думаешь, никто не догадался, что там у тебя на уме?

– Ты о чём?..

Валя немного помолчала.

– Также мне, принципиальный!.. Выискался тут... – И с нескрываемой язвительностью в голосе: – П о л у ч и т е и р а с п и ш и т е с ь...

Валерка – ни слова: не знает, что сказать. Одно лишнее слово, и пиши-пропало.

– Теперь-то я вижу, кто ты, – опять заговорила Валя.

Валерка проглотил комок досады.

В трубке – громкое дыхание Вали. Валерка не торопит её.

– Павлов ему не нравится... – Пауза. – Да кто ты такой против него! Алексей Васильевич ни времени, ни здоровья не жалел... И сейчас... как белка в колесе.

– Вот и укатали сивку крутые горки. Пора на покой.

– ...а ты его – к стенке, как шаромыгу какого-то.

– Дурную траву с поля вон.

– Сам-то ты кто?.. Кляузник! Да какая же я дура была...

– Ты и сейчас дура.

Пи... пи... пи... – услышала Валя в трубке.

«Ну и не надо, – с грустью подумал Валерка. – Будут тут учить меня...»

Раскаленные за день тротуары и стены домов, словно газовые сушилки, нагнетают тепло. Духота.

За спиной – скрип двери.

– Лерка, дай трёшку... на такси надо. Спешу. – Голос сестры. – Не бойсь, завтра отдам. Ещё и пива тебе прикуплю.

Валерка оглянулся... усмехнулся.

– С каких таких барышей... чернявенькие гонорар отслюнявят?.. Смотри, а то вместо гонорара, гонореей наградят.

– Ладно тебе, не умничай. Гони трояку, не жлобись.

– Перебьёшься. Не велика барыня – в метро доедешь. – И вынул пятак. – Получи и распишись. До базарка как раз хватит.

– Жмот! – выплюнула сестра. И – в приказном тоне: – Не забудь, сегодня мать приезжает из рейса. Не опоздай к поезду. Хватит ей самой таскать кульки да сумяры. Надорвётся – палец будем сосать.

Валерка насупил брови: «Лучше б она работала у станка на заводе, а не официанткой в вагоне-ресторане. Не хватало ещё, чтоб её сцапали. С меня ж потом спросят – а ты куда глядел?.. где твоя партийная бдительность?.. Надо как-то осадить её».

... и вспомнил: «Хоть бы раз сварила нам суп или перед праздником помогла уборку в квартире сделать», – простонал отец и захлопнул за собой дверь. Ушёл и больше не вернулся. Опять звонок телефона. Валерка снял трубку.

– Я слушаю.

– Сергей, приезжай скорее. – Женщина... торопливый, взволнованный голос. – Отцу плохо. Очень плохо. Что-то с сердцем. Наверное, опять инфаркт... не приведи господь. Тебя просит. Приезжай. Помогай его. Скажи, что не он, а ты виноват... ему станет легче.

– Алло... алло... Кто это? Кто вам нужен? – с изумлением и досадой спросил Валерка.

В трубке немного помолчали. Затем незнакомый тихий голос...

– Извините... я сыну звоню.

– Вы ошиблись номером.

– Извините, пожалуйста.

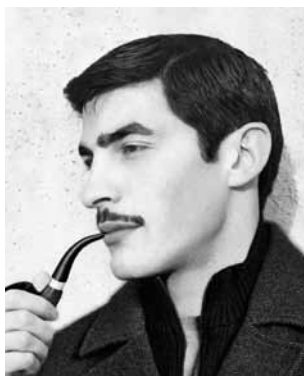
– Ладно. Пустяки. В следующий раз повнимательнее набирайте номер.

...но на другом конце провода, где так неожиданно навалилась беда, уже положили трубку: пи... пи... пи...

«Не очень-то и хотелось», – подумал он о Вале и равнодушно осмотрелся по комнате. Взгляд наткнулся на вазу, доверху наполненную шоколадными конфетами «Мишка на севере». Хотел отвернуться, но пухленькие лакомки в красивых обертках мертвой хваткой вцепились в подсознание: «...рыбак рыбака видит издалека...» Постояв минуту в нерешительности, Валерка взял телефонную трубку и набрал Женькин номер.



Николай ЕЛЕНИН



«Шпере ши ара»

Рассказ

Время веселой и бесшабашной жизни явно подходило к концу. Неотвратно навстречу мне двигалась расплата за бездарно проведенное время под названием «СЕССИЯ». Но так как я был уже более-менее подготовлен к таким невзгодам армейской жизнью, то шел смело и уверенно к своим первым студенческим испытаниям.

По правде сказать, если за плечами у меня не было бы тех трудных лет армейской закалки и уже анализируя эту ситуацию через призму долгих прожитых лет, то с уверенностью могу сказать, что я бы сломался при первых же трудностях. Но школа армейской жизни мне очень помогла. Упорство, твердость духа, а иногда «военная хитрость», выработанная за два года службы, сыграла в целом положительную роль в моей дальнейшей судьбе.

В общем, я не слишком переживал за экзамены, ведь школьная подготовка у меня была не плохой, да и лекции в институте не прошли даром. Однако была одна большая «заноза», которая не давала мне комфортно себя чувствовать в стенах «альма-матер». Эта заноза – английский язык, который я обязательно должен был сдать, иначе мне сулило отчисление из института.

Декан факультета иностранных языков, а она была женщиной, всегда нам говорила:

– Культурный человек, надеюсь, что вы такими выйдете из стен нашего института, должен знать хотя бы один иностранный язык!

Я до сих пор сомневаюсь в этой правоте, но в те годы свято верил, что так и должно быть. Но от этого мне легче не становилось.

На все лекции по иностранному языку я ходил четко, как в караул на «Пост №1». Правда, о чем там говорилось, я смутно понимал, но на всех занятиях сидел с понимающим видом и что-то все время писал, конспектировал. Со стороны могло показаться, что лучшего студента в группе, да и во всем курсе, не существует. Но моя «прилежность» к языку имела свой смысл. Я, втайне от преподавателя, тонким черным карандашом русскими буквами писал (под диктовку однокурсницы-отличницы) между строк в учебнике английского языка, как эти слова произносятся на русском.

Дело в том, что предварительно преподаватель объяснила нам, какой будет порядок сдачи зачетов и экзаменов. Зачет меня особо не волновал, так как состоял практически из домашнего задания, которое с успехом для меня напишет та же девчонка-отличница. А вот за устный ответ на экзамене я сильно переживал. Поэтому готовил английские тексты так, чтобы русскими буквами между строчек было произношение английских слов. То есть я читал английский текст русскими буквами. Таким образом я в течение всей сессии заготовил много текстов и очень берёг свой учебник, так как он «обладал» всеми моими знаниями на тот момент.

Однако всем этим я не ограничился и старался как можно ближе познакомиться с «англичанкой». Я всегда встречал её в дверях аудитории, а после занятий помогал донести до дверей кафедры кучу учебников, разные пособия, тетради. Но при этом почти всегда встречал улыбки молодых преподавательниц, которых крутилось много на кафедре, и эти улыбки о многом говорили. Я был молодым, стройным, веселым, с черной ниточкой усов над верхней губой и с такими же черными волосами на голове, всегда аккуратно зализанными под «Марчелло Матроянни». Так что выглядел я тогда весьма и весьма «убедительно». Мне не хотелось обращать особого внимания на юных преподавательниц, потому что у меня были совершенно другие планы.

Вот эта моя невнимательность, а может быть, и показная холодность к молодым особам, и сыграла со мной злую шутку. Я знал, что женщины способны отомстить, ужалить или унижить обидчика, а если это мужчина, то сделают это еще с большей изобретательностью. Но я ошибся, думая, что знаю их «приколы», и недооценил их, а вернее, забыл, что эти «юные львицы» с кафедры иностранных языков не только женщины, но еще и коренные одесситки, которые все это могут сделать с большим юмором!

Подшло время сдачи зачетов и экзаменов, то есть зимняя сессия. Я был уверен, что готов к ней на все сто процентов, за исключением, конечно, английского. Я был в приподнятом настроении, как солдат во время войны перед наступлением. Солдат не знал, останется ли он в живых после боя или нет. Лично у меня уверенность такая была. Но все поломалось сразу, как-то неожиданно, и не было даже времени собраться с мыслями.

На зачет по английскому всю нашу группу «запустили» в большую аудиторию, где каждый выбрал себе «удобное» место. В ожидании преподавателя мы еще раз внимательно ощупали все потайные места, перелистывая и переключая «шпаргалки». Но, как говорится – перед смертью не надышишься!

И вот в аудиторию входит одна из тех «молодых львиц» с кафедры и, в упор разглядывая нас, объявляет:

– В связи с тем, что вашего преподавателя отправили на курсы повышения квалификации и она не сможет прийти сегодня к вам, то вместо нее зачет и экзамен будет принимать другой преподаватель – заведующая кафедрой, профессор Анна Францевна!!!

Свой ехидный взгляд она остановила на мне, как бы говоря: «Ну что, получил по заслугам? Но это еще не все!» При этом глаза ее горели, что не предвещало ничего хорошего.

Да, это был первый и самый сильный удар по моей, казалось бы, крепкой линии обороны. Я записывал и не знал, что делать – выйти или остаться в аудитории?! Все мои труды, которые я так прилежно готовил в течение нескольких месяцев, были разрушены одним коварным ударом, можно смело сказать, прямо в самое «яблочко». Они (молодые преподавательницы) точно рассчитали, что если у своего преподавателя у меня еще были какие-то шансы, то у заведующей кафедрой шансы мои приравнивались к нулю. И я, обреченный на не известные еще мне муки и стыд, вынужден был остаться на этом «поле боя»!

– Будь что будет! – твердил я себе. – Гвардейцы не отступают без боя!

В общих чертах я знал Анну Францевну. Слышал, что у нее сложный характер. Ей было уже в ту пору около 45-47 лет, она никогда не была замужем, не имела детей, но зато безгранично любила собак и кошек. Говорили, что у нее в частном доме, где-то на 11-12-й станции «Большого Фонтана» водилось их большое множество.

Вот с этими мыслями я лихорадочно перелистывал подготовленные мною тексты в «заветном» учебнике, точно не зная, с которого она начнет спрашивать. В аудиторию вошла Анна Францевна, вид у нее был усталый, но доброжелательный. Она извинилась, что наш преподаватель не сможет принять у нас зачеты в связи со сложившимися обстоятельствами. (Я до сих пор уверен, что она не знала истинных причин, по которым отправили в командировку нашего преподавателя).

– Это даже к лучшему, у меня появилась возможность ближе познакомиться с новой молодежью и оценить ваши знания! – присаживаясь, устало сказала зав. кафедрой.

Если б я тогда мог знать, насколько эти слова будут пророческими для меня, я, наверное, встал и покинул бы этот институт НАВСЕГДА!

А так как у нее было мало времени, а на кафедре ее попросили принять зачет и экзамен у нашей группы (вы теперь догадываетесь, кто это все придумал), она обошла всех, раздав один из текстов, который мы проходили с нашим преподавателем. И тут меня ждал второй удар, заготовленный специально для меня «молодыми львицами». Когда очередь дошла до меня, я понял, что пропал! Дело в том, что она мне сама, на свое усмотрение выбрала текст, который я ни разу не читал и не переводил. Я попытался что-то пролепетать, типа того, чтобы мне дали другой текст, который я лучше знаю. Но услышал ласковые слова от Анны Францевны:

– Текст этот очень легкий и на слух даже приятный, и я думаю, с ним справится любой школьник, не говоря уже о вас, подготовленных студентов! Тем более меня просили наши молодые преподаватели, чтобы этот текст достался именно вам! – вежливо сказала она, но при этом как-то по-новому взглянула на меня.

Мне нечего было сказать в ответ, и я молча согласился. А что было делать?! Школьник, возможно, легко справится с этой задачей, но для меня это «китайская грамота». Ведь в школе, за все годы обучения языкам, мне пришлось по разным причинам изучать в 5-м классе – немецкий (правда, всего одну четверть из-за болезни учителя), в 6-8-м – французский, а в конечном итоге на выпускных экзаменах мне поставили по английскому языку «жирную тройку»!!! Так что я был большим «полиглотом». Правда, когда читал английский или французский тексты, получалось, что говорю по-немецки.

Именно с этими мыслями я и сел за изучение данного текста. Единственное, что меня утешало, что он действительно был небольшой и отпечатан большими буквами, словно знали, кому он достанется. Я немного успокоился и огляделся в надежде найти свою спасительницу – девочку-отличницу, но тут же понял – «дело утопающего в руках самого утопающего!», рядом со мной никого не было. А в это время студенты, сидящие в первых рядах, стали бойко отвечать. Работа у всех ладилась, и было видно, как однокурсники, с успехом прочитав и переведя заданные тексты, один за другим клали на стол преподавателю зачетки и, получив «ЗАЧЕТ», радостно выбегали из аудитории.



На задних же рядах шла упорная работа, можно сказать, на «выживание»! Оказалось, что такими же слабыми «знаниями» иностранного языка обладают еще несколько человек и что эта сдача зачета им тоже дается с большим трудом. У одного нервы не выдержали, и он попросил у преподавателя прийти в другой раз. На что Анна Францевна пожелала ему лучше подготовиться и попробовать еще раз с другой группой.

Вот и настал мой час расплаты. В сердцах я проклинал этих молодых преподавательниц, желая им всего того, что только можно в таких случаях пожелать. Но зато я теперь точно знал, что испытывали те ребята во время войны, которые поднимались из окопов и шли в бой с криком «УРА!!!»

Кричать мне не пришлось, когда я начал читать текст, голос мой стал странно тихим, и на просьбу преподавателя читать громче я никак не реагировал. С горлом моим что-то случилось, мне хотелось кашлять, чихать, но не говорить. Взяв себя в руки, я все-таки прочитал название текста: «ШПЕРЕ ШИ АРА», и быстро забегал глазами по остальному тексту, что-то невнятное произнося себе под нос и не давая опомниться преподавателю.

– Стоп, стоп! – услышал я голос Анны Францевны.

– Какой текст вы сейчас читаете? На какой странице?

Я четко ответил, что текст такой-то и на такой-то странице. Тут же последовал недоумевающий вопрос:

– Странно, – сказала Анна Францевна, – у меня такого текста нет.

Она внимательно рассматривала учебник, потом встала из-за своего стола, подошла и присела за парту рядом со мной.

– Читайте! – властно скомандовала она.

Набрав в легкие как можно больше воздуха, я единым порывом выдохнул: «ШПЕРЕ ШИ АРА», – и был очень горд собой, что так ловко у меня получилось.

– Вы случайно не входите в нашу студенческую команду КВН? – слышались слова преподавателя.

Я отрицательно покачал головой.

– И не готовитесь к городской «ЮМОРИНЕ»?

Я опять отрицательно покачал головой.

– Я часто вас видела на кафедре, и у меня сложилось хорошее впечатление о вас! – продолжила Анна Францевна.

– Но, видно, первое впечатление как всегда обманчиво. Читайте еще раз! – уже с какой-то, даже неосознанной злостью приказала она.

– «ШПЕРЕ ШИ АРА», – вымолвил я в ответ.

Лицо ее налилось кровью, и из нежной, вполне симпатичной дамы она вдруг превратилась в волчицу, которая защищает от врагов свое логово!

– Я не позволю никому так издеваться над собой! – в порыве гнева закричала Анна Францевна и, схватив со стола мою зачетку, метко кинула ее в проем неожиданно открывшейся двери аудитории. Дверь, видимо, открылась не случайно. Услышав крик заведующей, на помощь бросились подслушивающие у дверей двое «молодых преподавательниц». Они стояли в проеме дверей и не могли поверить в такой эффект проведенной ими операции.

– Чтобы вашей ноги в ближайшее время здесь не было! И не пытайтесь сдать экзамен другому преподавателю, это у вас не выйдет!!! Я дам распоряжение по кафедре, чтобы вы, после углубленного изучения английского языка, сдавали экзамен только мне!

Анна Францевна подумала несколько секунд и добавила:

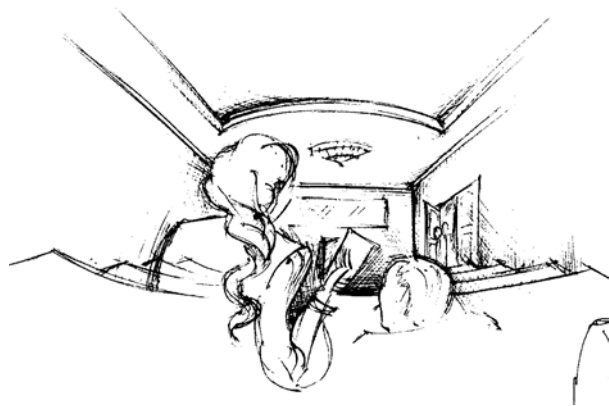
– Если, конечно, я еще буду жива и меня не «доконают» такие студенты, как вы! – молча повернулась и вышла в коридор, только было слышно, как в полной тишине стучали ее каблучки в направлении кафедры.

«Молодые англичанки» молча и с неподдельным участием смотрели на меня, при этом как бы ничего не понимая. До них только сейчас стало доходить, что они сильно перестарались в своих «наказаниях» в отношении меня.

Я же сидел за партой, сжав руками голову, и что-то бормотал про свои неудачи. Всё казалось ненужным и нереальным. У меня было такое впечатление, что это происходит не со мной.

Этой затянувшейся паузой решили воспользоваться трое еще не отвечавших студентов, сидевших на задних рядах.

– А как же мы? – спросили они, смотря в упор на «молодых англичанок».



– Оставьте ваши зачетки, а завтра их заберете на кафедре. Я скажу, что приняла у вас зачет, думаю, ОНА одобрит мое решение, сложившееся в этой нелепой обстановке, – сказала одна из них.

Студентов долго просить не надо было. Они быстро сдали зачетки, собрали свои вещи, и уже перед самым уходом один из них подошел ко мне и прошептал в ухо:

– Крепись, «старичок», ты нас троих сильно выручил, век тебе благодарны будем!

Оставшиеся в опустевшей аудитории «англичанки» не спеша подошли ко мне, решив как-то успокоить меня.

– Ничего не понимаю?! – задумчиво произнесла одна. – Анна Францевна всегда такая вежливая, сдержанная, и что же могло произойти, чтобы она ТАК отреагировала?!»

Она посмотрела на меня очень внимательно, как бы изучая, и тихо спросила:

– А может, вы ее обидели или невольно нагрубили?

– Я даже и рта не успел открыть, только прочитал вслух несколько раз, по ее просьбе, название рассказа, и ВСЕ! – оправдывался я

Одна из них тут же спросила меня:

– Что вам задали читать, покажите это место?

Я машинально ткнул пальцем в текст.

– Ну и что? Текст – простой и даже легкий. Его может прочитать и перевести любой школьник.

Я в гневе чуть не подпрыгнул на месте. Надо же, и эти тоже надо мной издеваются!

– Спокойно! – сказала англичанка. – Мы хотим тебе помочь, но надо во всем разобраться!

– На что она так сильно разгневалась? – спросила вторая преподавательница, тихо стоявшая за моей спиной, указывая карандашом в мой текст. – Может, ты плохо читал или ей твой перевод не понравился?

– Какой перевод?! Я до него даже не дошел! – ворчал я.

Тут в аудиторию вошли еще две англичанки, которые все это время были на кафедре и, как могли, успокаивали Анну Францевну. Они уже, видимо, были знакомы в «общих чертах» с этим маленьким «ЧП» и поэтому все вместе, чуть ли не хором, тыча пальцем в текст, приказали мне:

– Читай!

– «ШПЕРЕ ШИ АРА», – четко, чтобы им было понятно, прочитал я.

На лицах англичанок сначала замер ужас, а потом, глядя друг на друга, они так захохотали, что даже из коридора стали к нам в аудиторию заглядывать сдавшие зачет и ждущие меня сокурсники. Англичанки смеялись так весело и так долго, что даже я немножко потеплел. Они мне теперь казались совсем не высокомерными, а простыми и даже очень симпатичными. Я подождал, пока утихнет смех, правда, ждать было долго, и тихо спросил у одной из англичанок, что тут смешного. Давясь от смеха, с глазами полными слез, она с большим трудом выдавила из себя:

– Знаешь, кто это и как это слово правильно читается?

В ответ я отрицательно покачал головой.

– Запомни на всю жизнь, это слово знакомо всем грамотным людям и читается оно – ШЕКСПИР!!! – и, не сдержавшись, опять упала в истерику.

«ШПЕРЕ ШИ АРЕ» это есть «ШЕКСПИР»!!! Вот это «лажанулся»! – подумал я.



Алексей КАРЕЛИН



Родился в 1990 году в с. Митьковка Брянской области. Окончил Брянский политехнический колледж. Учится заочно в Брянском государственном техническом университете. Служил в РВиА (Ракетные войска и артиллерия) во Владимирской области. Публиковался в журналах: «Очевидное и невероятное» (Харьков, Белгород), «Лучшие компьютерные игры» (Москва), «Вселенная. Пространство. Время» (Киев, Москва), «Искатель» (Чикаго), «Воин России» (Москва), военной газете «Красная звезда» (Москва), «Наш Техас» (Хьюстон) и др.

Скорбь

Рассказ

Горизонт заалел. Продрал глотку петух. Дед Емельян застонал, перевернулся к стенке. Снится ему Варя. Да не та, что в могилу легла: полная, морщинистая, седовласая. Та, с которой под венец пошел. Гладит его жидкие клоки волос, улыбается. Как дела, как живется без нее, спрашивает. От тела жар идет, старые кости согревает. И так хорошо, будто у матери на коленях! Оттого и растянuty губы у старика во сне.

«Совсем невесту, Варюш, – шепчет Емельян. – Один, совсем один я. Сестра умерла, сын с внуками в Америку уехал – ни слуху, ни духу. Уж три года поди. Здоровье совсем не то. К тебе хочу. Скорей бы уже».

«Глупенький», – смеется Варя и вдруг отдаляется.

«Варька! Куда?» – кричит Емельян.

А девушка, будто фото старое, померкла и огнем охватила. Дед Емельян зовет ее, руки тянет, плачет, но жена молчит, лишь глаза жалко смотрят.

– Соглашайся, Емельянушка, соглашайся, – эхом точно отдало.

Громко заурчал мотор, залязгали гусеницы. Врезался в Варьку немецкий танк, рассеял на тучу пепла. Грохот. Выплюнула пушка ядро да прямо в дом Емельяна. Покосилась крыша, внутрь осыпалась. И сделать ничего нельзя: ни гранаты, ни пулемета.

Будто из-под земли выскочили немцы. Сверкнули в воздухе бутылки. Одна за другой разбились о дом, зажгли огнем адовым.

Емельян упал в канаву, пальцы закусил, чтоб не зарыдать. Плечи подрагивают, слезы ручьем льют.

Косые лучи солнца осветили пол, кровать. Пропел петух несколько раз.

Дед Емельян резко распахнул глаза. Сон... А сердце еще отбивает чечетку. Встал, накинуд рубаху байковую, клетчатую. Перекрестился трижды с шепотом: «Куда ночь, туда и сон». Руки сами потянулись к газете. Затрещала бумага, зашуршала под песком махорки. Дед Емельян скрутил сигарку, вдел ноги в тапки со стоптанными задниками и, шаркая, пошел на крыльцо. Штаны да носки он-то уже давно на ночь не снимал.

Плитка на крыльце еще не согрелась, даже чуть влажная – на ступеньке не посидишь. Дед Емельян вышел на улицу, опустился на истрескавшуюся потертую скамью под забором и закурил. Солнце еще не набрало силу, в теньке прохладно, но сигарка согревала изнутри. Рядом шелестел старый тополь, ствол – не обхватишь. Где-то в кроне забарабанил дятел. Издалека донеслась ругань. Неужели Сенька с утра надрался?! Дед Емельян прислушался, но не тот уже слух, притупился. Одно ясно, не жену Сенька поносит. Приехал кто? Дед Емельян бросил окуроч на утопанную землю перед скамьей, тяжело поднялся и побрел во двор.

Мухтар еще спал: цепь закруглялась от штыря в будку. А вот куры уже кудахтали. Дед Емельян взял в сарае серп, корзину саморучной плетки. Пол-огорода – трава. Это раньше, когда с бабкой жили, все усажено было картофелем, табаком, помидорами, огурцами... А много ли надо одному? Да и сил уж нет лопатой орудовать. С маленьким кусочком потихоньку еще справишься. Вот и растет теперь пятачок кар-

тошки, маленькая тепличка огурцов и табак – единственное, чего не уменьшилось. Без него дед Емельян жизни не представлял. Понимал, что губит себя, кашлял по-страшному, но бросить не мог. Сызмальства пристрастился. Наполнив корзину молодой травой да одуванчиками, дед Емельян побросал их в курятник. Раньше рубил мелко, но куры и так неплохо едят. Зачем лишняя морока?

Из будки вылез заспанный Мухтар – черно-серая дворняжка, похожая на щенка овчарки. Увидел хозяина, тявкнул неохотно.

Дед Емельян пробурчал:

– Сам не жрал, потерпишь.

Специально для собаки дед Емельян не готовил. Ели одно и то же. Самые лакомые кусочки, конечно, доставались Емельяну. Когда-то была и свинья. Но на пенсию всех не прокормишь, да и в мышцах слабость – поди заколи, когда сам еле на ногах стоишь. Дед Емельян нажарил картошки, открыл банку соленых огурцов – вот и завтрак. Не забыл поделиться картошкой и с псом. Оглядел себя в зеркале – щетины нет, а жаль. Когда жена была – радовался: бабам-то не нравится, когда бородища – дикарство, мол, и целоваться неприятно. А сейчас скрыла бы она морщины, годы немалые, но не лезет, зараза.

Забрехал пес. Кого черти принесли? Во дворе ждал высокий коротко стриженный мужчина. В солнцезащитных очках, одет с иголочки: черные костюм и галстук, белоснежная рубашка. В руке – чемоданчик, точно такие в фильмах обычно набиты пачками денег.

– Вы ко мне? – спросил дед Емельян неуверенно.

– Емельян Никифорович?

– Да, я.

– Тогда к вам. Пройдемте в дом, надо поговорить.

Пускать чужака в хату не хотелось – больно по-бандитски выглядит, – но не хамить же. Прошли на кухню, маленькую, где уютлись и печка, и газовая плита.

– Чай, кофе? – вежливо предложил дед Емельян, хотя кофе с роду не имел.

– Нет, спасибо.

– Вы присаживайтесь-то.

Незнакомец заметил, что стул только один.

– Может, в зал? Неудобно, если вы будете стоять.

Дед Емельян скрылся за занавесками спальни, вернулся с табуретом, уселся.

– Ну?

Незнакомец опустился на стул, поморщился. Видать, не привык на таких сидеть: деревянных, жестких.

– Я собственно вот по какому вопросу. Ваша деревня близка к городу. Можно сказать, пригород.

Дед Емельян хмыкнул.

– Да, да. Вы, наверное, давно не выезжали из деревни? Наш город разрастается, обновляется. Вот и до вас дошел.

– То-то, гляжу, трамвай по улицам начал ездить, – усмехнулся дед Емельян.

– Я серьезно, Емельян Никифорович. Город разрастается, нужны новые земли. Собственно из-за этого я здесь. Земля, на которой расположена ваша деревня, выкуплена. Принадлежит частной компании, которую я и представляю.

Дед Емельян посмурнел.

– Мы собираемся строить тут высотки, – продолжал незнакомец, – супермаркеты, заправки. Понимаете?

– Сними очки, сынок, – вдруг сказал дед Емельян. – А-а, так и думал: наглые, бесстыжие. Чего пришел-то? Вышибалой будешь? Это не тебя сегодня Сенька поливал?

– Спокойствие, Емельян Никифорович, спокойно. Не надо волноваться, делать поспешных выводов. Никто вас не выгоняет на улицу.

– Тебя как звать-то, ворон?

Незнакомец пришел в замешательство.

– Антон Денисович. А почему ворон?

– Худой вестник, и черен так же. Антон, значит... Так скажи мне, Антоша, это кто ж вас надоумил землю выкупать, нас не спросив? Тут целая деревня живет, а вы этот, как его... полис собрались возводить.

– Деревня не такая уж большая. Много домов пустует, живут в основном пожилые люди. У деревни нет будущего. Сносить ее надо. Вас переселим в город. Понимаете? Взамен вот этой халупы вы получите квартиру в городе.

– Халупы, значит?

Глаза деда Емельяна ожесточились, лицо побагровело.

– Я в этой халупе почти всю жизнь провел. Сам строил, когда женился. Чихал я на твою квартиру! Тут вся моя жизнь. Тут! И другие тебе то же скажут.

Антон поскучнел, взгляд опустил, забарабанил пальцами по столу, бросил задумчиво:

– Да сказали уж... некоторые.

– Вот-вот, а я еще добавлю. Иди-ка ты со своей стройкой к ёдрене фене. Мы тут полвека прожили, а ты снимать нас с места вздумал. Умный больно! Земли мало? Вон кругом сколько. Строй, где хошь? А на обжитую не суйся. Тут прадед мой жил, и дед, и отец. Деревня войну повидала и простояла, а ты, сопля зеленая, сносить ее вздумал?

– Попрошу без оскорблений. Я понимаю ваши чувства...

– Да ни ежа ты не понимаешь! Тут все родное: земля, трава, речка, тополь, соседи, друзья... Хозяйство тут у каждого, огороды. Или ты нам и дачу подаришь? Земля с пеленок нас кормит. Тут пращуры вконец захоронены. Куда нам, старым, переезжать?!

– Но ведь все равно придется, – пожал плечами Антон Денисович.

– Придется? Попробуй – отними. Моя земля, я за нее плачу. И мой дом.

– Ну, сколько вы платите? Гроши. Мы предложили миллионы. Все улажено – земля вам не принадлежит. Дом? Дом предлагаем обменять на квартиру.

– Я ниче подписывать не буду. И говорить даже на эту тему.

– Зря вы так, зря.

– Не тебе о том судить. Вот вам!

Дед Емельян показал кукиш.

– Так и передай начальству. С маслом, ваш бродие, с маком – как пожелаете. Могу еще дырку от бублика привесить.

– В квартире-то лучше жить. Все ж цивилизация. И с печкой, – презрительный взгляд в сторону, – не надо маяться, и под рукой все: больница, магазины, рынок. Спокойнее, от воров защищеннее. Да и опять-таки посты полиции повсюду. А с транспортом и вовсе сказка.

Дед Емельян посмотрел на чужака, как цепной пес. Вот-вот зарычит.

– Сынок, ты что ль глухой? Я ему про Фому, он мне про Ерему. Какой транспорт, какие магазины? Здесь мой дом родной, здесь! Иди от греха подальше, иди, пока не зашиб.

Антон Денисович резко встал, заиграл желваками.

– Я еще приду. Вы подумайте. Как лучше-то. Мы-то все равно своего добьемся.

– Да кто ж вам даст? Немцев прогнали, и вас – в шею.

– Ой, дурак ты, Емеля. Как в сказке: Емеля-дурак.

– Пшел вон! Вон, говорю, – закричал дед Емельян и яростно указал на дверь. – Пошел, пес!

Крик сорвался в кашель. Задыхаясь, дед Емельян согнулся. Антон Денисович потоптался и вышел молча.

Дед Емельян отдышался, прошел в зал, выглянул в окно. Не уехал, змий. Стоит под окнами черный джип. К Тоне, наверное, пошел. Скрутив сигарку, вышел на крыльцо. Сел, закурил, подумал: «Надо табурет сколотить махонький, по ступеням люд топчется, а я задом все вытираю». Выкурив самокрутку, дед Емельян вышел на улицу.

Из дома напротив выскочил Антон Денисович. Хмурый, резким шагом дошел до джипа, бросил сердитое: «Я завтра вернусь, дед. Подумай хорошенько». Джип взревел и покатил, покачиваясь, по ухабистой грунтовке.

Следом появилась Тоня – дородная баба в самом соку. Вся семья, считай, на ней держится. Муж заработанные деньги пропивает, сын таскает пенсию у бабушки или из дома что продает, чтобы магарыч добыть, дочь еще мала.

– И к тебе ирод заходил? – спросила Тоня, махнув на джип.

Как после битвы: раскраснелась, глаза сверкают, руки в боки. Она могла похлеще Сеньки обматерить, ее крутой нрав всей деревне известен. Антон тот, верно, не знал, куда деваться. Не зря как ошпаренный выскочил.

Дед Емельян скрипуче засмеялся.

– Что смеешься? Приходил, спрашиваю?

– Погостил немного и ушел несолоно хлебавши. Сеньке, вон, проспаться не дал.

– Смеется! Что смешного? – пыталась сохранить строгость Тоня, между тем уголки губ непрощено поднимались. – Проспаться не дал, говоришь? Так ему и надо: и одному и другому. Мой вчера опять пьяный притащился. С Сенькой этим что-то обмывали.

– Было б топливо, а повод заправиться всегда найдется, – лукаво ответил дед Емельян.

– Ишь ты, как глаза заблестели. Тоже не ангел был, сразу видно.

– Был, Тонечка, был. Теперь – ни капли. Как Варьки не стало, не хочу. Сколько слез я ей принес из-за этой водки... Не хочу. На Новый год даже не пью – боюсь сорваться.

– Эх вы, мужики, поздно за мозги беретесь... Вот сразу бы так.

Тоня вздохнула и сменила тему:

– Ну, что этот Антон Денисович тебе наговорил?

– Что, что. Что и всем, наверное? Квартиру обещал, блага цили... цилили... тьфу!

Тоня кивала, а потом и сама начала рассказывать:

– Спрашиваю, а что за квартира-то? Мнется. Новая, говорит, в городе. Чувствую, подвох. Где, сколько комнат, спрашиваю. Глаза опустил, виляет: ну, смотря кому... Одиночкам – однокомнатная, у вас семья – больше надобно. Больше – это сколько: две, три, – спрашиваю. Сколько квадратов? У нас-то дом вон какой, еще и пристройку сделали. Мямлил что-то. В общем, поняла, что лучше не будет. И поселят где-нибудь на окраине, вон за мостом что район, к примеру.

– Его все сегодня гонят. Ничего у них не выйдет. Вряд ли дураков найдут.

– Знаешь, а мне боязно, не усну сегодня. Землю-то, говорит, выкупил.

– Всех силком не выселят, а по-доброму не заставят. Правда на нашей стороне, и Бог, значит. Не бойся, Тонь. Деревне сколько годков осталось, потерпят. И им и нам так лучше. Молодежь уезжает отседова, старики мрут. Время терпит, обождут.

– Ох, Емельян Никифорович, дай Бог так, дай Бог.

Дед Емельян сидел на крылечке и курил, когда пришел Антон Денисович. Мухтар натянул цепь, безудержно залаял.

– Здравствуйте, Емельян Никифорович, – сказал гость и одарил пса пренебрежительным взглядом.

Дед Емельян не ответил, глаза сощурил, выпустил дымную струю.

– Может, пса уймете? Голова разболится...

– А тебя никто не держит, – сказал дед Емельян, пожимая плечами.

– Пройдемте в дом?

– Я сегодня негостеприимный чего-то.

– Ну вы хотя б подумали? Утро вечера мудренее. Вы – человек умный, не могли не заметить выгоду, – с улыбкой продолжил Антон Денисович.

– Как человек умный, я догадался, что вы хотите избу на шалаш обменять.

С лица Антона Денисовича сошла улыбка.

– Никто вас обманывать и не думал. Вот сегодня три семьи согласились переселиться. Сейчас...

Антон Денисович поднял ногу, положил на колено дипломат, расстегнул и прочел:

– Симайко, Голубцовы, Покрышкины. Вот.

Дипломат со щелчком захлопнулся, нога опустилась.

– Все молодые... – заметил дед Емельян. – Нашли глупцов. Только знайте: среди старожилов дураков нет.

– Емельян Никифорович, о вас же забочусь. Соглашайтесь. По-хорошему. Потом пойдет другой разговор.

– Что, с пушками приедешь? – презрительно усмехнулся дед Емельян.

– Ничего хорошего не обещаю. Вами займется просто другие люди, которые не любят сюсюкаться.

Клокастые брови деда Емельяна соединились.

– Суда не боишься?

Антон Денисович невинно улыбнулся и ответил:

– Чего ж мне его бояться? Земля принадлежит нашей компании. Мы вольны распоряжаться ею по своему.

– Божьего суда, Антоша, Божьего.

Антон Денисович на миг застыл и вдруг рассмеялся.

– До таких лет дожили, а до сих пор в сказки верите. Ну-ну, посмотрим, как ваш Бог распорядится деревней.

Дед Емельян бросил окурочку в коробочку, приспособленную специально для этого, гаркнул на пса:

– Мухтар, молчать! В будку!

Пес непонимающе посмотрел на хозяина.

– Иди в будку!

Мухтар склонил голову и поплелся в конуру.

– А теперь послушай меня, сынок: мы костями ляжем, а на землю свою не пустим.

– Значит, быть войне, – бросил Антон равнодушно. – В последний раз предлагаю капитуляцию. И овцы целы, и волки сыты.

– Ты не страшнее немца, сынок, не напугаешь.

Антон Денисович и дед Емельян долго смотрели друг другу в глаза.

– Я обошел еще не все дома – время есть. Подумайте, Емельян Никифорович, хорошенько подумайте. И овцы целы, и волки сыты. Соглашайтесь. В самом деле так будет лучше, подумайте.

Антон Денисович вышел на улицу, а дед Емельян сидел, словно мёртвый. Бледный, глаза расширены,

не шевелится.

«Соглашайся, Емелюшка, соглашайся», – словно эхом отдало, а перед глазами ясно встала молодая Варя. Вчера дед Емельян словам непонятным значения не придавал, мало ли какая нелепица во сне привидится. Теперь задумался. Не приходила ли и в самом деле Варька с того света? Предупредить, оградить от опасности.

Лязгнул затвор калитки, вошла Тоня, всплеснула руками и крикнула:

– Емельян Никифорович, он опять приходил! Угрожать пытался! Надо людей созывать.

В клубе давно не было столь шумно. И стар и мал собрались в тускло освещенной зале, обсуждали как злобу дня, так и личные дела, сплетни.

Прозвенел микрофон. То Тоня вышла на сцену и попыталась его настроить. В клубе стихло.

– Итак, спасибо всем, кто пришел сюда, – начала Тоня с улыбкой. – Возможно, не все еще знают, но нашей деревне грозит снос.

В дальнем углу клуба несколько человек ахнули, поднялся шепот.

– Ну-ка, цыц! Да, вы не ослышались. У многих уже побывал адвокат дьявола – Антон Денисович, так он себя называет. Уговаривает нас переселиться черт знает куда, покинуть родные места, хозяйство, бизнес.

Последнее относилось к Тоне. Она вела торговлю на дому: продукты, напитки, всякая мелочевка.

– Многих ожидает конура, семейным, возможно, что получше. К администрации области взывать бесполезно. Она нас продала с потрохами. Я знаю, некоторые поддались посулам змия, и прошу их пересмотреть решение. Взгляните сначала на обещанную квартиру, в конце концов. Чтобы вам не всучили вместо алмаза стекляшку.

– Нам показывал, – пискнул женский голос из центра толпы. – Ничё, красиво, уютно.

– И где находится? – спросил густой мужичий бас.

– Не знаю. На этом, ноутебуке показывал.

– Да так я вам и хоромы президента покажу, – рассмеялся парень у дверей.

– Лучше съездить, Настюш, – согласилась с ним Тоня. – Мало ли что он показывал. А теперь слушайте меня внимательно. Завтра прибудет техника. Одну улицу у нас отвоёвали, там только Касаткин не согласился.

– Полевая, что ль? Там пять домов жилых. Есению да Ефимовну запугали, верно, одни ведь, без мужиков, а молодые – без ума, – прогнусавил мужик с рыжими бакенбардами.

– Это кто без ума? Мы выгоду видим и соглашаемся. Вам-то что?

– А ты б не испугался, когда такой хмырь напирает, да с угрозами, с медом перемазанными? – пожаловалась Есения.

– Тихо! – крикнула Тоня. – Завтра враг ступит на нашу землю. Мы не должны допустить этого.

– Это как?

– Поперек дороги ляжем? Аль как на свадьбе – в цепочку?

– А шо, у меня ружо есть, – заявил поджарый дед с белой бородой веером. – Пальну разок, они и разбегутся.

– Не надо ни в кого стрелять, Павел Порфирьевич, – пресекла ненужные разговоры Тоня. – Но дорогу перегородить надо.

– Я ж говорил, костями ляжем.

– У кого есть машины? Кто не боится рискнуть?

– В смысле? – спросил рыжий с баками.

– Поставим на въезде поперек дороги. Им не проехать.

– А если проедут? По головам.

– Не проедут. За это уже можно в суд подавать.

– Нет, я под таким не подпишусь.

– Я столько копил... Извини, Тоня, но я пас.

Взгляд Тони забегал по толпе.

– А я поставлю, ежели со мной хоть две наберутся! – крикнул Лагерев, небритый мужчина с фанатично горящими глазами, и выпятил подбородок.

– Ну, раз Егорыч осмелился...

Из толпы поднялась рука.

– Вот уже двое, – радостно подсчитал Лагерев. – Кто третьим будет? Бог любит троицу.

– А что, я эгоизмом не страдаю. Ради общего дела...

Еще одна рука.

– Это кто тут эгоист? Мы, что ли?

– Да не в жизнь!

– Эки песни развели.

Одна за другой поднялись пять рук.

– Ну, пожалуй, хватит, – сказала Тоня. – Только после храбрость не растеряйте.

– Тонь, мужик сказал – мужик сделал, – заверил Лагерева.

– Да за тебя я спокойна, – отмахнулась Тоня. – И так, кто готов бороться с произволом всеми способами?

– Да что мы можем? – хриплый старческий голос. – Только срок продлеваем.

– Нет, братцы, так не пойдет. Так мы можем ни с чем остаться, – поддержали с задов толпы. – Ни дома, ни квартиры.

– Надо получше все разведать. Авось, не хитрят.

Тоня нахмурилась.

– У кого еще поджилки трясутся?

Толпа забурилась, заругалась, заспорила. Тоня пыталась управлять разговорами, но тщетно. Старые выселяться ни в какую не соглашались. Молодые делились на тех, кто «за», и тех, кто хотел во всем разобраться. В конце концов решили пока технику не пускать. Разузнать побольше. Вдруг золотые горы – не сказка?

Варя снова снилась. На сей раз не проронила ни слова, лишь плакала. Беззвучно, как икона, отчего на душе холодело. Дед Емельян сидел на лавочке, курил и думал. Сон ли дурной привиделся, или жена сказать что хочет. Неужели он должен покинуть родной дом? Знает же Варя, каково ему, не может не знать. Но просит, все равно молит. А что он деревне скажет, ей не объяснишь про сон, про дурное чувство – не поверят, осмеют, оклеймят предателем.

Над головой прошумел крыльями аист, уселся в гнездо, что через два дома на столбе желтело. Закричали птенцы. Супружеская пара нежно потерлась клювами.

У деда Емельяна защемило сердце. Так захотелось сына, внуков повидать! Услышать детский смех, обнять возмужавшего Кирилла, с невесткой познакомиться. Опостылело одиночество. Жизнь не жизнь, когда рядом нет родного человека.

– Едут, едут! – звонко прокричал малец на велосипеде, затормозил и бросился во двор к Тоне.

Дед Емельян притоптал окурок и упер взгляд в калитку напротив. Наконец появилась Тоня с мальчишкой.

– Что делать-то собираешься? – спросил дед Емельян.

– А что делать? Все уже сделано. Не проехать им в деревню. Пойду посмотрю, чтоб не учудили чего.

– Боишься, по машинам попрут?

– Кто их, дураков, знает?!

– Ну, иди, иди, потом расскажешь.

Хотелось присоединиться к Тоне, да дальние прогулки давно стали слишком тяжелы. Дед Емельян ждал сначала возвращения соседки. Понял, что придет нескоро, и занялся повседневными делами. Сготовил себе завтрак, зверье накормил, полил огурцы. Сел на крыльцо передохнуть, заодно и дым пустить, вспомнил, что обещался себе сбить низкий табурет. Пока молотком махал, умаялся. Тяжело дыша, любовался на предмет своего труда, поставил на нижнюю ступеньку крыльца и тут же решил опробовать. Свернул сигарку, уселся.

– Вот, другое дело, – сказал с мягкой улыбкой.

Когда тлеющий огонек подобрался к пальцам, послышался голос Тони. Дед Емельян бросил курок и вышел со двора. Тоня буквально сияла. Неужели получилось?!

Дед Емельян окликнул соседку, и та с радостью выложила, как было. И про бешенство Антона Денисовича, его угрозы, и про враждебно настроенных мужиков, скучковавшихся за Тониной спиной. Как Антон Денисович на словах не сдался, а сам велел стройбригаде возвращаться в город. Под улюлюканье детишек на велосипедах техника покинула деревню.

Деда Емельяна маленькая победа не обрадовала. Антон Денисович вернется. Такие люди сразу не отступаются, унижения не прощают. Чувствовал дед Емельян, что победа эта приведет к краху, лишь усугубит ситуацию. Не зря Варя плакала кровью.

Дед Емельян встал как обычно, рано поутру. Вышел с сигаркой на крыльцо: кровь разогнать, разум пробудить. На улице ругались. Тоня и еще кто-то. Дед Емельян вышел за калитку. Соседку осаждали Федор – волосатый здоровый мужик, прозванный Волком, – и Кузьма – бойкий пропойца с большой злысиной, как всегда в грязных спортивных штанах и помятой майке, машет неимоверно худыми, белыми руками.

– Эй, эй, черти, вы мне соседку не обижайте.

Федор обернулся, приветливо махнул.

- А, Никифорович, здорово!
- Что стряслось, что за шум без драки?
- Да стерва эта... – начал было Кузьма, но тут же схлопотал от Тони тяжелую оплеуху.
- Я те дам «стерва»! Я те дам «виноватая»!
- Уймись, баба!
- Молчи, пьянь!
- Цыц! – гулко крикнул Федор. – Никифорович, тут, значит, такое дело: спалили наши машины, один металлом стоит.

Дед Емельян плюнул в сердцах и выругался.

- Знал, знал, что так просто не оставят. Ну а Тоня тут причем?
- Как причем? – хамовато возмутился Кузьма. – А кто машины ставить надоумил?
- Я тебя силком тащила? На буксире машину тянула? – налетала Тоня. – Я предложила – ты согласился. Какие проблемы? Знал, на что шел.
- Если б знал, не поставил бы!
- А говорили, говорили ведь: вдруг раскатают!
- Так не раскатали же!
- А было бы лучше?

Дед Емельян поднял руки, пытаясь остановить словоизлияния, и сказал:

- Тихо, тихо вы. Что сцепились? Не ту глотку рвать стремитесь.
- И что нам делать? Кто платить будет? – не успокаивался Кузьма. – Где я деньги возьму на новую?
- Да она еле дышала у тебя! – воскликнула Тоня.

Дед Емельян всплеснул руками.

- Вот ядрен батон. Да уймись вы! Кто поджег, с того и спрос.
- Спорящие замолчали, посмотрели на деда.
- Кругом-то ни машины ихней, – сказал Федор о строительной бригаде. – Не могли они...
- Ночью приехать, пока мы спали?

Федор осекся, пожал плечами.

- Ну, блин, я этого шестерку в навозе закопаю! – пригрозил Кузьма и затряс кулаками. – Я этого, с иголки...

- Дождись его вначале, – пробурчал Федор.
- Да я его... я его из-под земли достану.

Федор усмехнулся:

- Ну да, в грязи копаться ты любишь.
- На что это ты намекаешь?
- На порося, что, нахрюкавшись с друзьями, в луже спит, – засмеялась Тоня.

Ни Антон Денисович, ни строительная бригада в этот день не показались. На следующий, после полудня привезли вагончики, разместили на окраине деревни. Навезли досок, принялись возводить забор – огораживать строительный участок.

Несколько деревенских во главе с Тоней навестили Антона Денисовича. Того яростные выпады в его сторону несколько не смутили. Он не проявил ни капли внимания, лишь бросил небрежно:

- Прежде чем хаять чужих, присмотритесь к своим. Не всем мы противны, не все слепы.

А ведь и в самом деле даже не подумали, что кто-то из своих мог поджечь машины. Из сторонников переселения. Та же самая Есения. Загорелась в город переехать, а тут помехи устраивают, за себя трясутся и другим планы рушат. Градус доверия резко понизился. Каждый присматривался к знакомым с подозрением. Ожидался серьезный разговор.

Состоялся он, конечно же, в заброшенном клубе. Вот только ни к чему не привел. Порычали, полаяли друг на друга, рассорились, Есению до слез довели, а предателя не нашли.

После собрания дед Емельян долго сидел с Тоней у своего забора на скамье.

- А может, ворон специально так сказал, – поделился он догадкой, – чтоб стравить нас, единого духа лишить.

- Да единства и не было, – заметила Тоня сокрушенно.

Солнце садилось, шелест в кроне тополя умирал. Захотелось рассказать о сне, о Варе, но стоит ли. Дед Емельян посмотрел на Тоню. Поверит?

- Ну ладно, Емельян Никифорович, пойду я, темнеет уже.

Тоня встала. Дед Емельян погрустнел и с обидой сказал:

- Иди, иди, конечно.

Тоня заметила тоску на стариковском лице, подбодрила:

- Не переживай, Емельян, и на нашей улице будет праздник.

Тоня торопливо перешла дорогу и скрылась за калиткой, прошуршал засов.

Дед Емельян поднялся с тяжелым охом, вошел во двор, кивнул Мухтару.

– Хорошо тебе, морда. Не ведаешь, чего творится, спишь спокойно.

Пес почувствовал настроение хозяина, проскулил в ответ. Дед Емельян понял по-своему.

– Сейчас, сейчас вынесу. Забыл я про тебя сегодня. Голодный, бедняга.

Вывалив в миску подсохшую жареную картошку, дед Емельян сел в зале, включил телевизор. Сносно показывали только два канала: «Россия» и украинский. Выбор небогат, поэтому пришлось смотреть новости. Дед Емельян знал, что ничего хорошего не услышит, но чем еще заняться. Вот стукнет девять – можно спать идти.

Телевизор вырубился, как и свет на кухне.

– Этого еще не хватало, – вздохнул дед Емельян, скрутил сигарку и вышел на крыльцо.

Тьма сгушалась. С речки, что за огородами, доносилось кваканье лягушек, с улицы – пение цикад, тихо звенела цепь Мухтара, когда тот переходил с места на место.

Вдруг донеслись мат, возмущенные крики.

– Да, гады, они! Не то что отключили, вовсе снимают, – Сенька вроде.

– Как вообще?

– Так, провода снимают. Машина эта, электромонтеров стоит. Отрезали нас от мира.

– Вот суки...

– Ничего, они сегодня попляшут. Ты с нами?

– А то.

Дед Емельян вспомнил полные боли глаза Вари, кровавые ручейки на ее щеках.

Всё, война началась.

Дед Емельян встал с петухами. Спалось плохо. Не давало покоя злое Сенькино обещание. Что дурак учудит? Подорвет еще кого, доиграется, что за решетку угодит. Да и Варя из головы не выходила. Бросить дом или бороться? В одиночку решить или посоветоваться с кем? С мутной головой вышел на крыльцо, бросил зевающему из будки Мухтару сердито:

– Хватит спать.

Зажег самокрутку, хотел сесть на табурет, но услышал вой крана, перекликающиеся мужские голоса. Дед Емельян торопливо вышел со двора, замер, сигарка вывалилась изо рта.

Над краном кружилась пара аистов. Их гнездо валялось на земле, придавленное вывороченным столбом. Рядом скручивали электрические провода двое в рабочих комбинезонах. Взволнованных птиц, казалось, никто не замечал, не слышал испуганного пищания из-под столба.

Дед Емельян затрясся, широкими шагами подошел к рабочим и обвалил на них трехэтажный мат. Ругался, стыдил, добивался ответа: неужели не видели гнезда? Мужики отмахивались, как от надоедливой мухи, и продолжали работать.

От беспомощности выступили слезы. Дед Емельян присел у столба. Один птенец мертв, у второго сломано крыло. Дед Емельян бережно поднял аистенка и унес во двор.

Птенец дрожал и, не переставая, звал родителей. Те примостились на крышу дома Емельяна и внимательно наблюдали за человеком.

Дед Емельян пока не знал, что делать с аистенком, но и бросить не мог. Отдать Ваньке? Месяц назад, когда птенец выпал из гнезда, мальчик подобрал его, кажется, выходил. Дед Емельян привязал сломанное крыло к тельцу и пошел к Соломоновым. Аисты сорвались следом.

Во дворе Соломоновых полная женщина с черными кудряшками на голове мешала кормежку поросенку. Так увлеклась, что не услышала, как вошел дед Емельян.

– Здорово, Максимовна!

Хозяйка подпрыгнула с испугу, обернулась.

– Никифорович! Ты шо пугаешь? А шо это у руках у тебя?

Смахнула прядь с глаз, подошла к деду.

– А это партийное задание твоему сыну. Опыт есть, поди и этот полетит.

– Тогда у нас кота не было.

– Когда успела завести?

– Да прибился чей-то...

– Ну, Ванька у тебя ответственный. Сохранит же, думаю.

– Ой, ты мой несчастный, кто ж тебя так? – нежно спросила Максимовна, принимая птенца на руки. – А пищит!.. Головушку одурил. Неужто черти эти? – женщина кивнула на улицу, где завывал кран.

– Звери, а не люди, – пробурчал дед Емельян. – Нет бы снять осторожно, нет, валят опору не глядя.

– Ты-то как, собираешься на квартиру соглашаться?

– Думаю, проиграли мы, – сказал дед Емельян обреченно. – Борис не борись, а в покое нас не оставят.

– Значит, будешь соглашаться?

– Варя мне снилась, плакала она, предупреждала, мол, соглашайся. Ей оттудова, – дед Емельян ткнул пальцем в небо, – виднее. Говорят, на небе будущее открыто.

– Да ты не оправдывайся. Это дело личное, каждый сам себе хозяин. Я вот тоже задумалась, работу присматриваю новую, в городе. Там-то без земли денег надо больше, – вздохнула Максимовна.

Дед Емельян кивнул.

– Сейчас с работой туго, а старикам тем более.

– Ну ты меня в старухи не записывай.

– Да я о себе...

– Ты только никому. Я тебе сказала про работу и всё. А то и так чувствуешь себя обманщицей.

– Да не переживай. Сейчас, когда дело так круто пошло, все, небось, думают об убогой квартирке.

– Может, отстоим? – спросила Максимовна и взглянула на старика с надеждой.

– Как бы у разбитого корыта не остаться. Я не хочу перемен, всей душой против. Кто знает, как оно повернется.

– Ну ладно, приму я горемыку, – сказала Максимовна, поглаживая птенца. – Ты только, слышь, никому о нашем разговоре.

– Замок на уста, а ключ в реку, – ответил дед Емельян с улыбкой.

Вышел на улицу, а сердце кошки терзают. Улыбка вмиг превратилась в болезненную гримасу.

– Емельян Никифорович? – раздался знакомый голос.

Рядом остановился чёрный джип, за рулем сидел Антон Денисович.

– Чего тебе, ворон?

– У вас раненые есть?

– Не понял.

– Ночью одного вашего подстрелили.

Словно ледяной молнией ударило: холодный ток прошелся от макушки до пят. Дед Емельян побледнел, еле выдавил:

– Как?

– Трое мужчин подожгли забор, один рабочий вовремя выскочил из вагончика и пальнул в темноту. Говорит, слышал крик. Труп не нашли, значит, ранен. Так никто тут кровью не истекает?

– А вы хотите помочь или наказать?

Антон Денисович опустил взгляд, улыбнулся.

– Конечно, помочь.

– Нет у нас таких! – жестко заявил дед Емельян и зашагал к дому.

Джип тронулся следом.

– Емельян Никифорович, и не слышали ничего?

– Встал недавно, – бросил, не оглядываясь, дед Емельян.

– Ну а что насчет квартиры, подумали?

Ноги вросли в землю, голова опустела. Что сказать? Единственное, что хотелось, так это плюнуть в наглую рожу. Но Варя... Дед Емельян силился переступить через себя – не получалось. Плечи поникли, навалилась жуткая слабость, и дед Емельян молча пошел дальше.

Антон Денисович не окликнул. Понял, надломилось что-то в старике, продержится недолго.

Строительный участок, как положено, обнесли забором. Линии электропередач сняли, газ перекрыли. Правда, был он только у третьей части деревни. Число опустевших домов росло. Съехал и Кузьма. Это его ранил в ногу рабочий. Антон Денисович обещал не обращаться в милицию, если семья Кузьмы переедет. В деревне остались в основном старики. Тоня по-прежнему возглавляла бунтовщиков. Сенька также не поддавался угрозам. Дед Емельян никогда бы не подумал, что в пьянице проявится такая стойкость. Сам же терзался сомнениями. Всё его внимание было приковано к Николаю Ивановичу, мужчине одинокому, жившему на отшибе деревни. На сходки деревенские он не ходил. Всегда был сам по себе. Николая не зря величали хитрым лисом, вот и теперь выделился, преподнес Антону Денисовичу сюрприз: приватизировал землю. Уж как шестерка невиданного бизнесмена вилась, изворачивалась! Всё впустую. Чувствовал Николай – закон на его стороне. Не дурак, три года назад из города приехал. Тихой, спокойной жизни захотелось. Как ликвидатор Чернобыльской аварии пенсию он получать стал рано. Вот и решил уехать от городской суеты.

Дед Емельян загадал: если Николай съедет, то и он подпишет бумаги.

На какое-то время Антон Денисович отступился. Забор железным занавесом отгородил Николая Ивановича от деревни, превратил в отшельника. Но ликвидатор не сдавался. На все уговоры отвечал, что продать землю не может. Тут скотинушка, чернозём, воздух свежий... Хитрил, на грубость не переходил. Дошло до того, что как-то утром он обнаружил в сарае мертвую свинью. Сомнений нет, отравили. Ночью во двор прокрались и дали дряни какой. Свинья все сожрет.

Антон Денисович посочувствовал и к делу перешел. Скота нет, деревенская тишь вот-вот исчезнет. За что держаться?

– Продавайте землю, деньги дадим немалые, купите трешку в центре города или сруб в какой деревне, – уговаривал он.

Понял Николай: житья не дадут. Хотел в суд подать на компанию, экспертизу провел, отчего свинья сдохла. Деньги у Николая были, сам – мужик умный. Но не сладилося. Если и была химия, то быстро сосалась, её следов в организме не обнаружили.

Когда дед Емельян услышал, что Николай Иванович продал участок и в Питер уехал, то словно парализовало. И день ясный показался пасмурным, и солнце греть перестало. Здоровье – совсем ни к чёрту, а тут ещё давление подскочило. День ходил по хате, охал, кашлял утробно, дымил, как труба банная. Оклемався. Поутру пошёл к вагончикам строителей. Там обычно появлялся Антон Денисович, разговаривал с бригадиром, а потом разъезжал по улицам.

Все, кто не встречался по пути, сразу понимали, куда, зачем идёт дед Емельян. Читали по лицу, искажённом болью и тоской, красноречиво говорили и тянущиеся к земле плечи, пластилиновая спина да заплетающиеся ноги. Никто не посмел и слова сказать: ни осудить, ни подбодрить, ни попытаться образумить. Выражение лица деда Емельяна тут же отражалось и на их лицах. Бороться с произволом чиновников оказалось тяжелее, чем с немцами.

Прихожая длиной в пять шагов, вишь – двоим взрослым не разойтись; маленькая кухня буквой «Г», потому как по соседству – туалет с узкой ванной; спальная комната – семь с половиной квадратов – в такой квартире предлагалось деду Емельяну дожить свой век. Плюс четвёртый этаж и отсутствие лифта, да тёмный узкий лестничный пролёт.

– Большого я от вас и не ожидал, – печально улыбнулся дед Емельян.

Мухтар гавкнул, будто в поддержку хозяина.

– Извините, что осталось, – сказал Антон Денисович, разводя руками. Солгал, конечно. Вряд ли другие получили жильё лучше.

С мебелью и вещами деду Емельяну помогли, оплатили и грузовик, и погрузочно-разгрузочные работы. Иначе дед Емельян переселяться не соглашался. Перевезти удалось не всё, так как пространство квартиры не позволяло. Бумаги оформили, как положено.

Первая ночь на новом месте всегда рябиновая. К сожалению, и деда Емельяна не постигло исключение. Сон не шёл, в голову лезли тяжёлые мысли, перед глазами всплывали корящие лица оставшихся в деревне, смеющиеся – Антона Денисовича и бригадира. Искривились вдруг, как в потревоженной воде, и уже не люди, а черти со свиными рылами хохочут, довольно похрюкивая. Несколько раз дед Емельян выпадал из мучительной дрёмы, подсказывал в холодном поту.

Днём в голове звенела сталь, в глазах скрежетал песок. Дед Емельян слонялся по квартире, как призрак, пытался привыкнуть к новому жилью, осматривался, переставлял вещи. Мухтар лежал под креслом, положив морду на лапы, и вращал глазами: наблюдал, как хозяин бродит туда-сюда. К полудню дед Емельян уже знал, где сколько шагов да метров.

Усталое тело грузно опустилось в кресло, дед Емельян включил телевизор. Каналов ловило тут больше, обещали ещё кабельное подключить. Это и будет спасением, отдушиной до самой смерти, предугадал дед Емельян.

Дни тянулись, как нуга. Дед Емельян познакомился с соседями. Зрелая пара с двумя дочками-школьницами справа, деловой мужчина-одиночка слева. Тесной дружбой, долгими разговорами и игрой в домино и не пахло. Во дворе частенько сидели на скамейке бабки: Лукерья и Авдотья. Ничто не ускользало от их внимания, сущие сплетницы, словно с газетной карикатуры сошли. Неподальёку от них за маленьким столом собиралась тройка любителей выпить: бывший зэк Толян, дворник Антон и пенсионер Абрамович. Последнего видали и трезвым и, кажется, на мат он был неохоч. «Может, поладим», – подумал дед Емельян, обреченно вздохнув.

С каждым днём копила силу тоска. Тоска по дому, тоска по шуму в кроне тополя, тоска по Тоне, мальчикам на велосипедах и даже Сеньке. Да по всему! По прошлой жизни. Бывало сядет в кресло, в одну точку уставится, а перед глазами сменяют друг друга воспоминания. В такие минуты Мухтар подходил к хозяину, подсовывал лобастую голову под ладонь, бил лапой по ноге – пытался вернуть. Если не помогало, начинал скулить. Боялся, наверное, что хозяин отдаст Богу душу, оставит на произвол судьбы.

Пять дней дед Емельян маялся и решил: надо попрощаться с домом, увидеть хоть разок напоследок. Сел на последнюю маршрутку до деревни и к сумеркам был уже там. Сошёл с проезжей части к забору – ворота закрыты, рабочий день кончился. Неужели зря приехал? Пошёл вдоль забора. Не может быть, чтобы деревенские свой ход не проделали. Точно, ближе к центральной улице в плотном ряде досок нашлась брешь. Дед Емельян протиснулся и поспешил к дому.

На небе проклюнулась первая звезда, проступил гнойный овал луны. По пути никто не встречался.

Улицы казались мёртвыми, аж дрожь пробегала по телу. Тогда и пришла мысль: есть ли тут кто? Может, все съехали? Мало оставалось, когда уезжал дед Емельян, а ведь прошло чуть меньше недели.

Нет так нет. Дед Емельян всё равно на разговоры не был настроен. Оно и к лучшему, если в деревне ни души. Хотелось попрощаться молча. Впереди засветились белёные стены родной хаты, высокий дощатый забор в бурых лохмотьях краски. Лязгнул затвор, дед Емельян ступил на чёрную дорожку плитки. Сердце защемило, к глазам подступили слёзы. Всё, как оставил. Покосившийся сарайчик, пустая конура, зелёная лужайка, над ней тянется бельевая верёвка, в ближнем углу – остатки дров... Всё памятно, близко к сердцу. Курятник пустой. Может, продали кур, может, рабочие съели. Жаль, времени не дали, дед Емельян на рынке б деньги за них выручил. Лишняя копейка никогда не помешает.

Дед Емельян поднялся на крыльцо, зазвенели ключи. Внутри дома гуляло эхо. Всё равно хата казалась уютной, родной. Глаза сами рисовали недостающие детали. Дед Емельян бродил по комнатам, скрипя половицами, поглаживал стены, печь, дверные косяки, взирал на всё с любовью и печалью. Уходить не хотелось. Не заметил, как и сон подобрался, свалил на группку, в ворох газет и тряпок.

Что такое? Кому неймётся среди ночи? Фейерверк пускают что ли? Чай, не Новый год. Или детишки с игрушечными пистолетами балуются?..

Дед Емельян поднялся, провёл ладонью по лицу, снимая паутину сна. Угроздило же задремать. С улицы доносился оглушительный беспрестанный треск. Дед Емельян прошёл в зал и точно попал в преисподнюю. Кругом играли багровые отблески, кричали, визжали мученики. Дед Емельян тряхнул головой, сбросил наваждение. Кричат женщины, а в зале и на улице танцуют тени от огня. Выступил пот. Не от страха – от жара. Над головой трещало, будто склад петард подожгли. Дед Емельян поспешил во двор, но не тут-то было. Распахнул дверь – ударило плотной струёй горячего воздуха – дед Емельян отпрянул. Горит, дом горит! Мысли заметались как ошпаренные. Дед Емельян пригнулся, прикрыл лицо руками, задержал дыхание и ринулся вперёд. Раскалённый воздух охватил тугой пеленой.

Дед Емельян хотел открыть калитку, но отдёрнул руку. Металл кусался не хуже шавки. Натянув на ладонь рукав рубахи, ударил по затвору, пихнул калитку и бросился вперёд. Жар чуть спал. Чуть. В голове стоял громогласный треск шифера. Огнём дышало со всех сторон. Горел не только дом Емельяна. И Тони, и Палыча, и Анисимовны. Огромные языки пламени тянулись с крыш в бледнеющую бездну неба.

Несчастные хозяева выбежали на улицу босые, в ночных сорочках и пижамах. Кто пал на колени и рыдал, кто носился с ведром воды, да к хатам не подступиться. Воздуха не хватало, закололо сердце. Улицу заволокли призраки немцев, треск шифера превратился в гудение мотора и лязг гусениц. Кто-то схватил за плечо, затряс, закричал в ухо. Мир качнулся, помутнел и превратился в чернильную кляксу.

Очнулся дед Емельян в больничной палате. Над ним склонился мужчина около сорока лет, в очках и белом халате.

– Вы доктор? – прохрипел дед Емельян. В глотке застрял ком, который никак не удавалось сглотнуть.

– Да. Лежите, не беспокойтесь. У вас случился инфаркт. Несколько домов в деревне сгорело. Вы переволновались.

– Их накажут?

– Кого? Насколько я знаю, произошел несчастный случай. Один дом загорелся. С него перекинулось на соседние дома. Ну, жара, лето – дома сухие, понимаете. Да и крыши у вас такие, говорят, мхом обрастают. От искры вспыхнут. Неудивительно, что дома захватило огнём даже на противоположной стороне улицы.

– Несчастный случай? Это они! Я уверен. Они!

– Кто? Кого вы имеете в виду?

– Это они, они! Ворон и его приспешники... Под суд! Под суд фашистов! – дед Емельян забился в истерике, хотелось плакать.

– Тише, тише, успокойтесь. Вы говорите ерунду. Какой ворон, какие фашисты? Мистика какая-то... – тараторил доктор, пожимая плечами. – Вы ещё не пришли в себя, такое бывает при сильном потрясении. Будем надеяться, что это пройдёт, иначе...

Дед Емельян стиснул зубы, схватил врача за халат и притянул к себе. Доктор встретил безумный взгляд и замолк.

– Доктор, я видел, как Ад восстал из-под земли.

Через пару дней деда Емельяна выписали. Он доехал до автовокзала, спустился в подземку, чтобы перейти на другую сторону улицы, но в сумрачном коридоре наткнулся на знакомое лицо.

– Сенька! Ты ли? Что ты делаешь? – и радость и страх перемешались воедино.

Привалившись к стене, на избитом полу сидел грязный оборванец, перед ним – коробочка, на дне которой валялись несколько рублей. Сенька и раньше выглядел худо: непричесанный, глаза мутные, колючая щетина, небрежно одетый. Теперь же и вовсе уподобился попрошайке. На руках и лице – следы

копоти, одежда измазана ею же да грязью, местами прожжена. Худое тело покрывает фуфайка защитного цвета, из дыр на рукаве и плечах лезет вата. Взгляд пустой, губы искусаны, покрыты коркой, чуть шевелятся, а звука не слышно.

Дед Емельян потряс знакомого за плечо. Сенька вздрогнул, уставился на потревожившего. Смотрел долго, словно не узнавал, но что-то припоминал смутно.

- Сень, это я – Емельян Никифорович. Ну, помнишь? На одной улице жили, через три дома.
- Емелька, – поразился Сенька и чуть не бросился обниматься.
- Тпру! Измажешь. Ты что тут делаешь?

Руки Сеньки безвольно повисли, лицо осунулось.

- А где мне ещё быть? Дома нет, до дочки далеко пешком ишачить.
- Пойдём со мной, поехали. Напою, накормлю.
- А ты что...

– Да у меня квартира. Вовремя я переехал.

Глаза Сеньки дико блеснули, ладони сжались в кулаки, затряслись.

- Так ты с ними?! Сговорился, сдружился? Уйди, зашибу!
- Уймись ты, старый чёрт. Идём, за столом объяснимся.
- Не пойду!

– Не дури. Бетон холодный, кости застудишь. Много ты тут выпросил? – дед Емельян кивнул на коробку с монетами. – То-то же, пошли.

Сенька ссыпал рубли в карман и пошёл следом за Емельяном.

В маршрутке от погорельца все ворочали носы, брезгливо морщились. Сенька же смотрел в ноги, сдерживал себя, чтобы бранью не разродиться. Ехали где-то полчаса, вышли в небольшом микрорайоне. Стройка ещё не закончилась, рядом с обжитыми высотками стояли серые здания с чёрными пустыми глазницами, а то и вовсе огрызки многоэтажек. Рядом с ними возвышались краны, краснели ржавые вагончики. Помимо узкой центральной дороги кругом грязь и мусор.

На подходе к одному из подъездов дед Емельян пошарил по карманам, не нашёл чего-то и взволновался.

- Баллончик не взял. Или доктора забыли вернуть...
- На кой он тебе? – проворчал Сенька.
- Да молодёжь... Хулиганов много. С темнотой так вообще страшно выходить. В ларёк выйдешь – за шкурки возьмут, на пустырь оттащат и порешат трёхсот рублей ради.

Когда за стариками захлопнулась дверь, а домофон умолк, Сенька протянул:

- У-у, темень. Так и навернуться недолго.
- Ага, так кто подстережёт, и не увидишь, кто ножом пырнул.
- Лампочку хоть повесили бы.
- Да жаловались уже.

К концу второго пролёта лестницы Сенька уже задыхался. Опёрся о перила, согнулся.

- Всё, давай отдохнём.
- Я и сам чуток подустал, – закивал дед Емельян.
- Чуток... Да тут сдохнуть можно, пока до квартиры доползёшь. Как живёшь, не знаю.
- Да вот как-то так. Всё ж лучше, чем на улице.
- А вначале крепким орешком прикидывался, кукиш им, говорил, а не дома.

Морщины на лице деда Емельяна обозначились резче.

– Я бы и не подумал... Варя, Сеня, Варя предупредила.

Сенька вскинул голову, посмотрел, как на полоумного.

- Она ж того.
- Видать, есть жизнь после смерти. Во сне несколько раз приходила. Знаки давала, плакала.
- Ты, это, не выдумываешь? – спросил Сенька осторожно.
- Тыфу! Так и знал, что не поверишь! Кто за язык тянул?!
- Да верю я, верю. Раз говоришь, значит, было.
- Правда?
- Правда. Давай на Эверест, – Сенька кивнул на лестницу.

В квартире их встретил запах мочи.

– Мухтар, ёлки-палки! – воскликнул дед Емельян.

Пёс взвизгнул и бросился навстречу. Дед Емельян обхватил его пасть, потряс.

– А, морда, делов натворил. Неучёная ты собака. А я и забыл совсем про тебя. Столько дней без при-
смотру! Обгадил, верно, всё, псиная рожа.

За спиной тихо засмеялся Сенька. Правда, смех больше походил на кашель.

– А ты, Сень, раздевайся. Щас воду тебе налью, помоешься хорошенько. Конечно, не баня, но всё ж.

– А белой у тебя найдётся?

– Опять за своё! Ну ты подумай! Только оправился чуток, уже о водяре думает. Иди освежись, о жратве потом скумекаем. Вещи в таз бросай, потом постираешь. Я тебе свои пока дам.

– Ох, ох, завохтал. Как матушка, ей-богу!

– За тебя, дурака, беспокоюсь.

К вечеру Сенька успел привести себя в порядок, раскритиковать тесное обиталище деда Емельяна, ознакомиться со всеми каналами телевидения, набить брюхо и заключить:

– Жить можно.

– Нужно, – поправил дед Емельян. – Не в переходе же милостыню просить.

– Я в очереди стою. Как погорельцу квартира положена, но ты знаешь, как у нас, в России. Пока дойдёт, если вообще дойдёт.

– Вот и я говорю: со мной будешь жить.

Сенька выпучил глаза.

– Да у тебя и без меня места мало. Куда нам двоим?!

– Ничего, уместимся. Сегодня можешь в кресле поспать или на полу постелю. Потом придумаем что-нибудь.

Сенька было воспротивился, но дед Емельян жёстко пресёк спор:

– И нечего ломаться, как девочка на выпускном! В пенсионный съездишь, адресок поправишь, куда деньги высылать. Да и мне легче будет. Одному хоть волком вой.

За ужином разговорились, вспомнили былое, молодость. Дед Емельян рассказал про сны с Варей, про постыдную сделку с Антоном Денисовичем и про то, как едва не сгорел заживо. Сенька – про то, что было в деревне после отъезда деда Емельяна. Дома всё-таки подожгли. Под несчастный случай замаскировали. Баба Лукерья в больницу с ожогами попала, Тоня уехала к сестре в Калугу, другие тоже по родственникам разъехались. После пожара все, кто ещё сомневался, согласились покинуть дома добровольно.

– Так, значит, в самом деле Варька тебе являлась?

Дед Емельян качнул головой. Сенька вздохнул.

– Эх, а моя, видать, меня не любит. Да и за что?.. Пьяница буйный.

– Да брось, глупости говоришь. Столько лет прожили. Я тоже не мёд был.

– Надеюсь, хоть после смерти встретит. Жизнь ругались, а на том свете одиноким быть не хочется.

Лицо Сеньки стало такое жалкое, скукожилось, сморщилось.

– Выпить точно нет? На душе так гадко.

Дед Емельян быстро смекнул:

– Хочешь Василису порадовать, брось это дело. Соверши поступок.

– Эк ты гад, в больное место...

Давно дед Емельян так не засиживался. На дворе наступила глубокая ночь, а в спальне всё ещё горел свет. Держало Емельяна и Сеньку вместе горе, сон не шёл. Выкурили всю пачку, аж туман стоял. Переживали заново ушедшие моменты, подлатывали раны на сердце и душе, поминали тех, кто ушёл из жизни и не видал произвола в деревне, тех, с кем жили и не ценили, тех, кого не хватало.

Первым уснул Сенька. Говорил, говорил что-то нечленораздельное и замолк. Дед Емельян кивнул, прошептал: «Пора, брат, пора». Выключил свет и лёг в постель.

Утром на глаза упал луч солнца. Окна выходили, как в старом доме, на восток. Потому сперва деду Емельяну и показалось, что он дома, в деревне. С радостным чувством потянулся, сел на кровати. Улыбка тут же потускнела. Кругом знакомые вещи, а квартира всё равно чужая.

Сенька ещё спал, развалился в кресле, голова наклонена к плечу. Пускай, устал человек. Сколько дней незнамо где спал, слонялся. Дед Емельян оделся, позавтракал, сходил в магазин, а Сенька всё спал. Отчего-то на душе стало тревожно.

Дед Емельян подошёл к Сеньке, тронул легонько – холодный, как дверная ручка в подъезде. Потряс сильнее, окликнул. Болтается безвольно голова, обмякшее тело не шевелится, грудь не вздымается.

Дед Емельян оставил Сеньку в покое, отшатнулся, прислонился к стене. Помер. Во сне, потихому. Оставил одного. Снова... К глазам подступили слёзы. И тут же накатил злорада. На себя, на мысли эгоистичные. Сеньке-то оно к лучшему – отмучался.

Дед Емельян провёл ладонью по глазам и вдруг заметил улыбку. Сенька безмятежно улыбался. Всё-таки встретила его Василиса...

Юлия РОДИЧЕВА



Родилась 6 июля 1947 года в Калининградской области, в семье военнослужащего. Среднюю школу окончила в г. Сокол Вологодской области, а затем Ленинградский политехнический институт, физико-металлургический факультет.

Эрмитаж

Ах, Флора, Флора Фальконе
И поцелуй Психеи нежной
Родена страсть, как в полусне,
В насечках мрамора «небрежных».

Ваятели, как вы смогли
Из глыбы мраморной Родоса
Тела живые извлекли
С извечным жизненным вопросом:

Жива ль любовь и красота?
Взгляни на контуры, надрывы.
О, как сияет нагота
И трепетны души порывы!

Явь и сон

Не знаю, в каких временах
Душа моя в снах затерялась...
Неведомы боль ей и страх,
Как будто бы связь оборвалась.

И только незримая нить
Ее возвращает полеты,
Нельзя ничего изменить,
Прервать непонятной работы.

Что ищет она вне времен?
С кем встречи вдали ожидает?
Нелепый пугающий сон
Чудесную явь предвещает!

* * *

Смотрю на пир природы вешней,
На вишни, яблони в цвету.
Спасибо, Господи, что вечной
Ты создал эту красоту!
Секвойи тень тысячелетья
Прохладу дарит в летний зной,
Мы ж за грехи свои столетья
К распытью тянемся душой!

* * *

Мне говорили о любви
Бесценные слова,
А утром пели соловьи,
Дурманила трава
И просыпался сонный лес,
Зеленая листва.
Лететь хотелось до небес
И кругом голова...
Тех лет хрустальный перезвон
Волнует сердце вновь.
Жизнь пронеслась, как сладкий сон,
И в нем одна любовь.

Вдохновение

Кисть плывет по маслу и рождает
Розы алой трепет на холсте,
И роса на розе замирает,
И нет места вечной суете.
Мысль пронзает звездное пространство,
Путешествуя меж Небом и Землей,
И она не знает постоянства,
Вечный странник и огонь живой.

Пересечение

Пересекаюсь с каплями дождя,
Что рикошетом бьют по гляncy окон,
Пересекаюсь взглядом, уходя,
И отплываю в странствия далеко...

И удивляюсь странностям души,
Все время пребывающей в смятенье
Хоть «от добра добра ты не ищи»,
Но невозможно жизнь прожить в сомненье.

Ведь сколько судеб не пересеклись,
Как звезды в небе яркие сияли,
Кружились в танцах, прожигая жизнь,
А вот друг друга и не отыскивали.

Осеннее

Солнце светит, солнце спит,
Устает немножко...
Хорошо, что есть на свете
Лунная дорожка,

Реки, горы и утесы,
Чудёса, морей
И серебряные росы,
Звёзды в небесах.

Грозы, радуга в полнеба,
Тёплый летний дождь,
Аромат краюшки хлеба
И ночная дрожь.

Краски осени на кленах,
Глубина небес,
И на горочке опёнок –
Ишь, куда залез!

О любви

Не говорите о любви
Обычные слова.
Её приход благослови –
Она всегда права.

Придет, когда её не ждешь,
Уйдет, не поднимая глаз,
В колючий и холодный дождь
И не воротится подчас...

И только звёздной тишине
Её известен путь,
Она нужна тебе и мне,
Поскольку жизни суть.

НЛО

Я неопознанный летающий объект:
Куда лечу, чего я жду, не знаю...
А вот тебя сейчас я видеть не хочу,
Хотя душа ранимая страдает...

Форсаж включен, и в звездной дымке таю я,
Оставлены земные огорченья:
Мой опустевший дом, нескладная семья,
И нет уже земного притяженья...

Я неопознанный летающий объект
Кружусь вокруг Земли по воле рока
Никто меня не ждет, не машет вслед.
Я НЛО, и как мне одиноко!

Эдельвейс

Володька на «Ледник Мушкетова» залез,
Протопал по горам аж триста километров,
И что нашёл? Лишь хилый эдельвейс,
Цветочек блёклый в десять сантиметров.

Но вот пройдя сквозь вереницу лет,
А, СССР в помине уже нет.
Из старой книжки совершив полёт,
На стол упал цветок тот блеклый, хилый.

Карелия

Там в феврале мела метель,
И ветер с вьюгой танцевали,
И не за тридевять земель,
А в Милюпельто мы попали...

Лыжня искрилась, наст скрипел,
И с елей рыси вслед глядели,
Снег ослепительно блестел:
Мы были в царстве Берендея...

И бриллиантами зима
Вся засияла, как невеста,
Я б не поверила сама,
Но сказочней не знала места.

* * *

Почему мне не снится
Золотая пшеница,
Васильки голубые во ржи?
Снятся дивные страны
И моря, океаны,
Без которых смогу я прожить.

Но чудесной порою
Вновь мелькнет за кормою
Петербурга таинственный знак
И совсем уж как в сказке
Замигает с опаской
На фарватере мелком маяк!

Петергоф

Пруды, фонтаны вдохновенно
Играют зеркалом воды,
То шепчутся уединенно,
Смывая свежие следы.

Самсон со львом в кругу бассейна
Жестокой схваткой увлечен,
Водича закипает пеной,
Взмывает вверх златым ключом!

Кронштадт над синевой залива
Российский сторожит простор,
А с берега ему игриво
Поет фонтанов звонкий хор!

* * *

О, как мне хорошо и дышится легко
На солнечном холме, где виноградник вьется,
Зеленые поля сбегают далеко,
Лес просыпается и эхо отзовется

На щебетанье птиц, на трели соловья
Мелодией любви и серенадой ветра.
Природа, человек – мы все одна семья,
Вот только жаль, что забываем это!.

Жерминаль



Гаркушина (Антонова) Ольга Владимировна. Родилась 22 августа 1980 года в городе Кишинёве. Работает диджеем и менеджером по спец. проектам на радиостанции «Авторадио», занимается администрированием он-лайн проекта <http://vivavoce.md>.

Письмо юноши

О, ты, прелестное создание
Прекрасной юности моей,
Тебя, не видев много дней,
Я жажду нового свиданья.
Ты подойдёшь ко мне опять,
И я любовью воспылаю.
Откуда ж ты взялась такая?
Не смел я о такой мечтать!
Своею нежною рукой
С лица ты локон убираешь
И так мечтательно вздыхаешь,
Вновь отнимая мой покой.
Твои чудесные черты
С восторгом я запоминаю:
Они ночами в снах всплывают,
Ведь мне так часто снишься ты.

Сыну

Взяла я в руки крохотный комочек,
И слёзы заблестели на глазах.
Я так люблю тебя, родной сыночек,
Спи-засыпай на маминых руках.

За каждым граммом мы следим в волненье,
Я и твой папа видим, как растёшь.
Ты – наша радость, наше вдохновенье,
Мы – для тебя, а ты – для нас живёшь.

Хочу, чтоб умным вырос ты и честным,
Чтоб смелым был, учился хорошо.
Работу выбрал чтоб по интересу
И девушку хорошую нашёл.

Пусть мыслями я далеко витаю,
Ведь ты пока совсем ещё дитя.
Но вдруг случится так, как загадаю?..
Ну а пока спи, деточка моя.

* * *

Научи меня жить и дышать,
В нежном вальсе кружась над землёю.
Научи меня птицей летать
И возьми меня в небо с собою.

Расскажи мне, как радостно петь,
Как родится звезда на востоке.
Расскажи, как на солнце глядеть
И не быть на земле одинокой.

Научи меня в страстном огне
Вновь и вновь повторять твоё имя.
И тогда, обещаю тебе,
Я твоею останусь отныне!!!

* * *

Одиночество – горькое слово,
Одиночество – страшная мука.
Ты сковало меня, как оковы,
Сердце стиснув в отчаянном стуже.

И зачем ты меня погубило,
Дав надежду и снова разрушив?
И за что так жестоко убило
Вдруг ожившую вроде бы душу?

Что я сделала в жизни плохого,
И за что меня жизнь ненавидит?
Бьёт она меня снова и снова,
Дав любому так больно обидеть.

Поднимаюсь, и снова споткнулась,
И опять на колени упала,
С головою опять окунулась
В лужу боли... И вновь всё сначала.

Может, бросить борьбу? Может, сдаться?
Отпустить всё на волю течения?
И оно принесёт, может статься,
Хоть на час, хоть на миг облегчение.

* * *

И снова слёзы счастья на глазах,
Когда твои признания читаю.
И пусть себе текут, не вытираю,
Пусть тают солью на моих губах.

Я так давно, поверь, тебя ждала,
Что упустить боюсь хоть каплю счастья,
Что Бог отмерил своей высшей властью,
Черпнув любовь из общего котла.

На фото улыбаешься ты мне,
Я пальчиком коснусь твоей улыбки.
И пусть в далёком снежном мире зыбком
Теплее станет в этот миг тебе.

Я имя прошепчу твоё в ночи,
И ты услышь меня во тьме бездонной,
Пусть сердце отзовется тихим звоном,
В душе пусть песня о любви звучит.

Не устаю я Богу говорить
О том, что дал узнать тебя, спасибо.
Ведь мы с тобой не встретиться могли бы
И вечно в этом горьком мраке жить.

Молюсь я каждый вечер о тебе
И по утрам в молитвах вспоминаю.
Прости меня за то, что я такая,
Что появилась я в твоей судьбе.

Я без тебя былинкой на ветру
Дрожу от стужи на пустой дороге.
Но вот ты здесь, со мной, и все тревоги
Исчезнут, как росинки поутру.

* * *

Жизнь разлетелась, как горошины,
И сердце лопнуло в груди.
Раздавлена, разбита, брошена,
И больше некуда идти.

Всё было сном, прекрасным, сладостным,
Но пробужденье отчего
Вдруг оказалось столь безрадостным, –
Глаза открыла – ничего.

И вновь я на колени падаю
С неясным хаосом в душе.
И вновь лишь на себя досаду
За глупость, чувства и вообще...

За всю свою наивность дикую
И за доверчивость свою.
За веру в ту любовь безликую,
Что где-то в сердце сохраню.

За боль, что сердце рвёт на части мне,
Что режет, колет без ножа.
За полный океан отчаянья,
За то, что плачет так душа.

* * *

Моё тепло – в твоей руке,
Держи его ты в кулаке,
Не променяй его на искры,
Что вспыхнут и исчезнут прочь.
Я не смогу ничем помочь,
Когда ты крикнешь «отзовись» мне.

Моей любви лучистый свет
Носи с собой как амулет,
Ты не раздай его напрасно
Тем, кто утешит лишь на час.
Я буду таять всякий раз,
Когда в разврате ты погрязнешь.

Храни меня, люби, ласкай
И рук моих не отпускай.
Я подарю тебе всю силу,
Всю красоту своей любви.
Меня ты только позови,
Я прилечу к тебе, мой милый!

Любимому

Как сильно я тебя люблю!
Поверь, не выразить словами.
Готова я всю жизнь мою
В окне твоём гореть как пламень.

Хочу твоим рассветом быть,
Звездой первой в час заката.
Позволь мне лишь тебя любить,
Мне больше ничего не надо.

Я буду под твоей ногой
Травой мягкой расстилаться.
Я буду для тебя рекой
Прохладной летом разливаться.

Я буду воздухом твоим,
Твоим дождём, твоей снежинкой.
Но не смогу я быть одним:
Жестоким, равнодушной льдинкой...

* * *

В моей душе сейчас пустая осень:
В ней ни поэзии, ни чувств, ни красоты.
И если ты меня сейчас об этом спросишь,
Я не смогу сказать, куда ушли мечты.

Всё, как в крутую бездну, провалилось:
Моя любовь, твои красивые слова.
Пусть прагматик скучно скажет: «Не сложилось»,
Мне всё равно, я даже не жива.

Я умерла с твоим последним взглядом,
Когда заката луч окрасил небосвод.
И пусть другая, та, что будет рядом,
Себя тебе отдаст, одним тобой живёт.

Анатолий МИРОШНИЧЕНКО



Родился 18 февраля 1939 года в Макеевке Донецкой области. Окончил Донецкий политехнический институт (1962). Работал на заводах, в НИИ и КБ в Макеевке, Краматорске, Донецке, Харькове. С 1971 года его жизнь, трудовые и творческие достижения связаны с Харьковом.

Поэт, переводчик, эссеист. Автор двенадцати художественных книг, переводов и эссе, вышедших в издательствах Харькова и Москвы.

Член Союза писателей России (1996), Национального союза писателей Украины (2004). Лауреат международной литературной премии «Слобожанщина» (2006) и премии Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2011).

Сиамская кошка

За окнами стыла окрошка:
Багряно-лиловая грязь.
В тот вечер сиамская кошка
В квартиру мою ворвалась...

Не то чтобы дерзко и грубо –
В манере её ремесла...
Признаюсь: холёная шуба
Кошачья меня потрясла!

Со мной что-то странное случилось:
Столбнячно-немое, ей-ей!
И тут же она оказалась
Нагою в постели моей!..

Как ластилась сытая кошка,
Меняясь от страсти в лице!..
Сияли алмазы в серёжках,
Блистали брильянты в кольце...

Заморским несло ароматом
От плеч белоснежных и ног...
Ни трёпкой, ни ласковым матом
Я выгнать каналью не мог!..

Конечно, всё это сугубо
Могло примерещиться мне...
Но чья же волшебная шуба
Мерцала всю ночь на стене?!

* * *

Когда бы мне дарили самолёт,
Не стал бы я отказываться, право,
Хотя мне самолёт совсем не нужен.

Я редко поднимался бы на нём.
Лишь иногда. Зимой. И осенью.

В безрадостные сумрачные дни,
Когда душа томится от печали
И ей необходимо убедиться,
Что там, за облаками, светит Солнце...

Не ведаю, зачем ей это нужно.
Возможно, Солнце – Бог моей души,
И без него томит её печаль...

* * *

Я знаю: Вы не любите меня,
Хотя клялись любить меня до гроба.
В глазах – ни обожанья, ни огня,
В объятиях – ни страсти, ни озноба!
Я знаю: Вы не любите меня.

И нету сил сказать об этом вслух.
Не говорите. Мне довольно жеста.
Не разомкнув своих объятий круг,
Я отпускаю Вас, моя невеста!
И нету сил сказать об этом вслух...

Меня шутя Вы сможете забыть
В тот самый час, когда забыть решите...
Но как мне Вас, скажите, разлюбить?
Как позабыть Вас, милая, скажите?..
Меня шутя Вы сможете забыть.

Уходите любимой, дорогой,
Связующие нити обрывая,
Из нашего тропического рая
По кромке моря, выгнутой дугой...
Уходите любимой, дорогой.

Летит за Вами пушкинская шаль,
Не замечая нищего искусства,
И вслед за ней летит моя печаль
На обгоревших крыльях безрассудства...

* * *

Проснусь и снова вижу сон
(А надо действовать, разиня!):
С неугомонным чёрным псом
Резвится юная богиня.

Она кричит ему: «Дружок,
Ко мне!» и, разозлив, ласкает,
Но сыромятный ремешок
Из крепких рук не выпускает!..

А пса, как чёрный вихрь, несёт
На властный зов хозяйки рыжей.
Он ей то сапожок грызёт,
То руку покаянно лижет...

Он от блаженства на вершок!
А я другую выбрал долю,
Сменивши рабский ремешок
На неприкаянную волю...

* * *

Ты помнишь, как в посёлке Южном
Цвела персидская сирень,
Сияло солнце, длился день
И воробьи купались в луже?

Как я тебя боготворил
И куст сирени подарил,
Как ты сказала шулки ради:
«Так поступил бы сам Саади!»

Как на расшатанном крыльце
Купили мы кило черешен,
Как соблазнитель и грешен
Был этот день в твоём лице!..

Как ты пропела: «Милый мой,
Что с нами станет зимой?»
Как я ответил шулки ради:
«Спроси об этом у Саади...»

Как мы бродили у пруда,
Как обнимала нас вода,
Как ты в своём пурпурном платье
Рвалась из пламенных объятий...

О, кто из нас сошёл с ума
Потом, когда пришла зима?..
И ты сказала правды ради:
«Я вышла замуж за Саади...»

* * *

Мои стихи бранят за простоту
(Ещё вчера за сложность их бранили!),
Читают в назиданье Пастернака,
И заодно Цветаевой корят,
Замалчивая Пушкина при этом.

Как объяснить им, этим петухам,
Двадцатилетним бородатым бардам,
Что сложность – не достоинство,
напротив! –
Свидетельство незрелости души.

Поэт приходит поздно к простоте
Через Сахару сложности.

И если

Она пылит песками позади,
Его за это поносить нелепо.

Никто не станет воду порицать
По той причине, что она прозрачна.
Ничто ей не мешает быть прозрачной
И утолять мучительную жажду...

* * *

Благослови этот день,
Эту плакучую иву и сень,
Лёгким плющом перевитый плетень,
Тайну нашедших друг друга сердец
Благослови, строгий отец!

Благослови тёплый песок,
Лодку, плывущую наискосок,
Локон, упавший на милый висок,
Страх и предвестие первой любви
Благослови!

Может быть, там, у незримой черты,
Где зародится робкое Ты,
И повторится, восстав вдалеке,
Солнечный праздник на летней реке:
Сладкой слезою и словом ЛЮБЛЮ
Я тебя тоже благословлю...

Анна ОСТАПЕНКО



Родилась в 1930 году в Одессе. Окончила Медэтомологический техникум. Жила в Узбекистане, переехала в Кишинев. Работала в издательстве «Картя Молдовеня-ска». Умерла 6 марта 2012 года

Незнакомка

Изящная женщина в желтом манти,
В велюровой шляпе с большими полями,
В троллейбусе полным стою рядом с вами,
А вы отрешенно глядите в окно.

Но вдруг улыбнулись одними глазами,
Ладонью прижав дорогое сукно,
Что вы одиноки, и очень давно,
Нечаянно ваши глаза мне сказали.

И все-таки вы в этот вечер удрали,
Сбежав по ступенькам куда-то в тепло.
На возраст махнув, вы надели манти
И черную шляпу с большими полями.

Роза и ветер

Сонет

Он шел с зарей одновременно
Бродяга-ветер налегке.
Как вдруг совсем невдалеке
Куст розы повстречал. Мгновенно

Пред этой розой небольшой
Галантно шаркнул веткой клена,
Чуть тронул лепестки влюбленно,
Прогарцевал разок другой.

И роза вся – краса сонетов,
Мечта влюбленных и поэтов,
Затрепетала, расцветая.

А ветер силу набирая,
Кружил в лучах дневного света,
На радуге цветно играя.

Анна Керн

Аннет, Аннет и просто Анна.
Такое милое лицо,
Всегда приятна и желанна
В кругу вельмож, среди юнцов,
Легка, воздушна, грациозна,
И счастлив был сказать поэт:
Другой такой на свете нет,

Здесь не влюбиться невозможно.
В мундире, генерал седой,
Был рядом муж – хранить покой
Не наделен он был умением.
И Пушкин – он своей строкой
В одно прекрасное мгновенье
В веках оставил молодой.

* * *

Сударыня, прошу принять
Кленовых листьев дар осенний
И попрошу Вас о почтенье
К словам, что я хочу сказать.

Стояла осени пора,
Но ширь небес была бездонна.
С букетом желтых листьев клена
Вы шли по улице одна.

Нет, улица была полна,
И все куда-то там спешили.
А вы не шли, нет, вы парили
В янтарном свете сентября.

Сударыня, прошли года.
Благословляя то мгновенье,
Сударыня, прошу прощенья,
Я полюбил Вас навсегда.

Метаморфозы

Сонет

Рассвет, шагая по Одессе,
Заглядывал бесшумно в дом,
И, даже там, где было тесно,
Располагался целиком.

Затем он становился летним днем:
От жара изнывала вся Одесса,
Ставрида жарилась со скумбрией,
И пар кружил над огненным борщом.

По улицам шло солнце напролом,
Приезжих целовало, как невесту,
Испив изрядно зельтерской со льдом.

И где-то там под Дальником,
Прикрыв себя вечернею завесой,
Упало в ночь, воспетую сверчком.

Осень

Постепенно, постепенно,
Осторожно, стороною
Осень всё-таки приходит
И становится тобою.

Всей тобою, а не тенью,
Всю себя в тебя вольет,
Всех осинников смятенье,
Журавлиный перелет,

Всю тоску осенней тропки,
Паутинки серебро
Первых заморозков робких,
Желтых листьев забытье.

Постепенно, постепенно,
Осторожно, не спеша
Осень всё-таки приходит,
Тихо листьями шурша.

Октябрь

С охапкой хризантем
Под шорох листопада,
Ведя на поводке
Ажурной вязки тень,
Шагает не спеша
Аллеей тихой сада
Оранжевый октябрь,
Встревожив журавлей.

Еще хранит тепло
Июльского пожара
Петунья у ручья,
Еще томит жара,
Но кажется уже
Картинной и усталой
Куртина красных роз
На листьях октября.

Море

Если б можно было море
Это синее, большое,
Как конфету, на край света
Всё в ладошке увезти.

Его вылить на опушке
Или нет, пожалуй, лучше
Дома выплеснуть всё в блюдец
И с каймы удить стихи...

Если б можно было море
Ах, если б можно было б море
С этой чайкой над волною,
С этим пляжем и с тобою...

Стоп! Тебя нельзя, я знаю,
Даже в гости пригласить.

Романс

Я вам еще пишу
Не письма, а романсы,
Торжественно свечу,
Сжигая на фаянсе.
И голубая гжель
С горящею свечою
И трепетная тень,
Возникнув за спиною,
Влекут к себе слова
Из звездного пространства,
Вплетая в кружева
Мелодию романса,
В бокале золотистое вино,
Я пью его за здоровье твоё
Из года в год,
В один и тот же день
Всего один бокал
И ровно в семь.

Старое танго

Не нарушая колорит
Всей гаммы солнечного дара,
То тут, то там звучит гитара,
Ей бубен преданно вторит.

На фоне звёзд и океана
Звучит под пальмами гитара,
И до рассвета в барах пары
Танцуют старое танго.

Вино

Бокал тончайшего стекла
Протёрт до солнечного блеска.
Вино играет в нём от всплеска
Летающих к свету пузырьков.

Балет руки и рондо зала,
И взгляда – два,
И звон бокала.

Валентин ПОРТАС



Родился 14 октября 1950 года в селе Редиу Маре Дон-дюшанского района. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. Ломоносова. Преподавал в Молдавском государственном университете. Печатается в СМИ Республики Молдова и Румынии.

Окурок

Брошенный с презрением из окна
Одного роскошного дворца,
Окурок сигареты потухал,
Но комара увидев, что рядом пролетал,
Из последних сил ему сказал:
– Милейший, ты видал,
Откуда только что меня зафитилили?
Я там бывал
И там (!) меня курили.

*Тем лишь похвастать может человек пропащий,
Что когда-то лучшим был, чем в настоящем.*

Комар и слон

Как-то раз один зазнавшийся комар,
Мечтавший затесаться в круг вельмож,
Открыл, что у него небесный дар –
На слона он дьявольски похож.

Лап, как у слона, четыре у него,
Глаза еле видны и чуть блестят,
Но в том ему отменно повезло,
Что хобот есть и два уса торчат.

Ну чем не слон? Смешно и возражать,
В порыве он открытые сделал тоже,
Что слон-комар способен и летать,
А вот собрат большой летать не может.

Новостью такую воодушевленный,
Приземлился он у ног слона,
Чтоб все заметили вполне определенно,
Как между ними разница мала.

Но в этот миг огромный «брат» его,
Подавшись с места, ногу переставил
И от величья комариного всего
Лишь маленькую точку на траве оставил.

*Урок воображалам, их неумной спеси:
Сходства – ерунда, коль разница – лишь в весе.*

Журавль и счастье

Втрескалась лягушка в ворона крутого,
И ворон ту лягушку безумно полюбил,
В тот же день, под вечер, полсесьмого,
Свадебный их бал объявлен был.

Журавль на свадьбу с лилией явился,
Которую на озере он долго выбирал,
Поздравил молодых, к лягушке наклонился,
Поцеловал ее и... сразу же сожрал.

*К чужому счастью, ясно, уваженье есть,
Но не больше, чем к желанию поесть.*

Рука и карман

Настойчиво рука,
Надеждами полна,
Трясаясь, в карман скользила,
Влекла ее туда
Неведомая сила,
Пальцами водила
Она по всем углам
И возмущалась постоянно:
Срам!
Денюжку искала
В кармане том рука,
Но каждый раз ее старанье
Приносило разочарованье –
Не было в кармане
Ни гроша.
После многочисленных попыток,
Не выдержав таких ужасных пыток,
Карману в гнев бросила рука:
– Зачем, скажи-ка, я тебе нужна
И дразнишь ты меня собой,
Коль постоянно ты пустой?
Карман ответил ей: – Постой,
Не надо на меня сердчать,
В том, что пустой я, не кори,
Ты мечтаешь только брать,
А я советую – клади.

*Многим присуща эта страсть –
Больше брать и меньше класть.*

Роман СОЛОДУХИН



Родился 10 января 1995 года в городе Павлодаре. Через год вместе с родителями переехал в г. Михайлов. Поэзией увлекается с детства.

* * *

Я эгоистичен порою
И даю волю тщеславию.
Хотя, не скрою,
Выгляжу добрым, как правило.
Я не признаю анархии
И не терплю хаоса.
Я знаю иерархию,
Но не служу парусом.
Пусть я пешком иду,
Зато никто на мне не едет.
Я не ищу редут,
Когда меня находят беды.
Я не строю судьбу,
Я вырезаю скальпелем.
Я скапливаю пазлы в будущее,
Как аппликацию, каплями.
Я скрываю свои эмоции,
Чтобы показаться сильнее.
Зачастую ругаю социум,
Но без него ничего не имею.
Считаю, что я генон-фактор
В жизненном процессе.
Но, думаю, де-факто
Я сам для общества малополезен.
Я разочаровался в людях,
Их алчность сделала меня корыстным.
И желчь теперь не изредка лью,
А повсюду её разбрызгиваю.
Хотя моя злоба незаметна,
Я одеваю маску приличия.
Мне, по большому счету, индифферентны
Все ваши взгляды личные.
Я живу по заповеди:
Не вреди другому.
Оставляю при себе выбросы залповые,
Хотя желание мести мне знакомо.

Я уважаю чужую сингулярность,
Признаю гениев. Но недостатки
Стараюсь не замечать регулярно,
Ведь не имею права быть бестактным.
Думаю, что я мудрее кого-то,
Но сам себя слабаком называю,
Когда пропускаю повороты,
Когда боюсь или ошибаюсь.
С предрассудками я распрощался,
Хотя бы что-то светлое у меня.
Только это не приносит счастья.
Способность думать часто лишь обременяет.
Так кто же я? Я не требую ответа.
Ответ все равно услышан не будет.
Ведь я людям не верю беззаветно.
И вопрос адресован, наверное, не людям.
Мне бывает страшно от своего хладнокровия.
Я хотел бы поплакать, но не плачется.
Неужели душа так обезображена и изуродована?
Или она всегда была как бы плохого качества?
Я назвался моветоном, а потом и стал им.
Как видите, мои сюжеты довольно мрачные.
Мое сердце холоднее стали, взгляд усталый.
Может быть, душа просто на стихи истрачена?
Может, я забыл ее в рубашке и постирал,
И она теперь навсегда испорчена.
Или оставил на улице мерзнуть вчера.
И ее украли помимо прочего.
Может, я ее проиграл в карты дьяволу?
И он унес ее в черном мешке с собой.
Наверное, надо душу искать заново.
В любом случае, мне уже не больно...

Впервые за много лет я наругал маме,
И весь день ругался с сестрой.
Думаю, сейчас на моей душе камень,
Только душа где-то не со мной.

Ирис ВАРДАНЯН



Родилась 12 мая 1991 года в семье профессиональных музыкантов, в одном из четырех священных городов Израиля – Цфате. Мать – Алена Вардanian – Maestro in Arta, доцент Академии Музыки, Театра и Изобразительных искусств, а мой отец – Роман Фельдман – композитор, кларнетист, преподаватель в Консерватории г.Реховот (Израиль). С 1993 года живет в Кишиневе. Окончила с отличием лицей им. А.С.Пушкина, а затем химический факультет Молдавского Государственного Университета по специальности «Технология косметических и медицинских препаратов». В настоящее время учится на втором курсе магистратуры, на факультете химии Университета при Академии наук Молдовы, по специальности «Химия природных соединений».

Время

Всё стало призрачно, безлико...
Куда-то мчатся впопыхах
Секунды. В их предсмертном крике –
Явь, что осталась лишь в мечтах.

Желаний неосуществленных,
Недоработанных идей
И дикой спешкой раскаленных,
Но толком не прожитых дней

Так много... Песни недопетой
Куплет витает в голове,
Средь ярких ниток бьют просветы
По тонкой жизненной канве...

О, Время, мой святой источник,
Недолговечен наш союз.
Я молода, но мне заочно
Тяжел несбывшегося груз.

* * *

Томленьем сладким вдохновленная,
Горя мятежно-ярким пламенем,
К тебе, как к свету, устремленная
Летит душа с упорством каменным.

Не понимая, чем ведомая,
Бежит навстречу неизвестности,
Но... Дежа вю! Какой знакомо
Дорогой! Духом странной местности

Уже была душа пропитана!
Так с неба смотрит солнце ясное
Лишь здесь! Своей красой невиданной
Лишь здесь весна лучится властная!

Куда же ты, дорога дальняя,
Меня ведешь, мечтой охвачена?
Ужели с зыбкою, хрустальной
Любовью встреча мне назначена?

* * *

Почувствуй пульс мерцающей Вселенной
И в такт ее мелодии дыши.
Остановись и необыкновенной
Гармонии открой врата души –

Откройся свету, сердце им наполнив.
Не выжидай, ведь может не настать
«Тот самый миг». А время не восполнить,
Спектакль жизни не переиграть.

Клубок своих идей, речей и действий
Распутай и, как ловкий шелкопряд,
Свяжи свой путь под солнцем равноденствий.
И зазвучат, настроившись на лад,

Спокойствие и мирное блаженство,
Осознанность всех точек бытия,
А угнетающее недосвершенство
Твоей души в плену земного Я

Бескрайняя заменит благодарность
За то, что в жизни было, есть и будет.
И вера в то, что жизнь – не просто данность,
А дар, теперь всегда с тобой пребудет.

Любовь духовно зрелую, сыновью,
Как отраженный в небо солнца луч,
Ты испытываешь. Этой же любовью
Разбудишь тех, кто спит под тенью туч.

Открытость, сопричастность, сострадание,
Ума и сердца полный резонанс
Возникнут вдруг, вне воли и желанья,
Как только сбросишь цепи – в тот же час.

Почувствуй пульс мерцающей Вселенной
И пробудись на розовой заре,
Чтобы успеть и встретить непременно
Закат на предназначенной горе.

Нет любви

Нет любви – есть лишь желанье,
Обуздавшее сознание,
Гордость в кровь и в пепел воля,
Сердце – на осколки боли.

Нет любви – есть вдохновенье,
С неподдельным упоением
Наполняющее смыслом
Наистраннейшие мысли.

Нет любви – есть лишь кумиры,
Нисходящие с Памира,
Идеал – конфетный фантик,
Яд, завязанный на бантик.

Нет любви – есть лишь привычка,
Догорающая спичка,
Почерневшая котлета,
Жизнь обугленного цвета.

Нет любви, но есть измена,
Полночь, юбка по колено,
Губ чужих огонь манящий,
Преступление – меда слаще.

Нет любви, но есть разводы,
Сквозь дыхание свободы
Скрип комодов опустелых,
Смена кадров черно-белых.

Лишь у края бездны стоя,
Ты поймешь, что всё пустое –
Нет любви..., – ты на прощанье
Кротко скажешь, – есть страданье.

* * *

Проснёшься ты в объятиях любимой,
Весёлой, нежной, женственно-ранимой.
Взаимностью волшебной упиваясь,
Дыханием друг друга наслаждаясь,

Ты будешь солнцем, а она – луною,
Которая укроет пеленою
От мрака ночи, но откроет взору
На небе звёзд чудесные узоры.

Как небеса Урана с царством Геи
Поделишься ты всей Вселенной с нею,
На горизонте, руку взяв родную,
Она тебе подарит песнь земную.

Ты будешь слушать, наполняясь силой
Неиссякаемой, и жить с душою милой
В гармонии, ведь в ней лишь то живёт,
Что самому тебе недостаёт.

Я этот брак душевный не нарушу –
Ведь не построить счастье, вмиг разрушив
Чужое. Дом не стоек на руинах,
Пусть и украшенный, весь в золоте, лепнинах.

Я лишь во сне к тебе приду, гонимой
Своей любовью, болью нестерпимой...
Проснёшься ты в объятиях любимой,
Весёлой, нежной, женственно-ранимой.

К Вертеру

Я вижу небо – солнце, облака.
В глубинах зеленеющей долины
Мне сладок нежный шепот ручейка
И вкус манящей ягоды-малины.

А мятно-свежее дыханье ветерка,
Лишь загрустишь – свечу тоски потушит,
И песней легкой крыльев мотылька
Мелодию сомнения заглушит.

Мой друг, мой брат, я чувствую течение
Реки времён лишь здесь, в глуши лесной,
С которой ты, познав любви мученье,
Не написал картины ни одной.

Родился ты художником природы.
Один ты мог ту гордость передать,
С которой ветви рвутся к небосводу,
Чтоб Солнца луч живительный впитать.

Один лишь ты, смотря себе под ноги,
Осознавал, что под тобою – мир,
И понимал, охваченный тревогой –
Он эфемерен, зыбок, как эфир.

Лишь ты умел любить так страстно, нежно,
Настойчиво и непоколебимо,
Надеясь, что когда-нибудь безбрежно
Отдашь себя, припав к губам любимой!

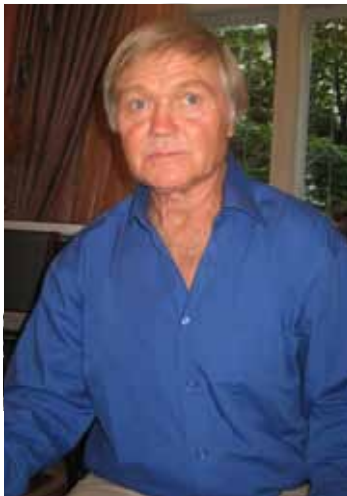
Не суждено. Она была другому
Ещё до встреч с тобою отдана.
Тебя спасти взаимностью искомой
Была не в силах верная жена.

О, Вертер, но она тебя любила!
Навеки связана её душа с твоей!
Зачем же ты в холодную могилу
Себя загнал неистовством страстей?

Борис КУДЕЛИН

проект осуществляется при
поддержке компании Orange*Продолжение. Начало в №10.*

В поисках попутного ветра



Этим же вечером я выехал на побережье Адриатического моря – в Римини.

Было солнечно. Жаркие июньские дни. Я ехал без билета. В вагоне не очень много итальянцев-пассажиrow. Молодежь в основном читает книги, какие-то конспекты, подчеркивает нужное цветными фломастерами – готовится к сдаче экзаменов. Поезд мчится быстро. За окном мелькают ярко освещенные солнцем зеленые кущи садов, рощиц. Мелькают огромные дома в виде современных замков – может, частные. Редко встречаются виноградники. Увидев в предыдущем вагоне медленно движущегося контролера, я зашел в туалет: через ожидаемый промежуток времени в дверь постучали. Я вышел из туалета в коридор. Контролер почти рядом разговаривал с каким-то пассажиром, на меня не обращал никакого внимания. Я постоял немного, затем вернулся и сел на свое место. Больше контролера я не видел.

Где-то, вероятно, посреди дороги между Миланом и Римини, поезд остановился, и я увидел стрелу-указатель – «Парма». Помню, давно у нас в Союзе шел фильм «Пармская обитель», главную роль в котором играл Жерар Филипп. Фильм имел огромный успех. Я тоже видел этот фильм в оные времена... Теперь же воспоминания, которые должны бы всплыть и всколыхнуть душу, как будто чем-то сдавлены и неподвижны. Так вода в открытом бассейне при сильном ветре – внешне не кажется, что она пребывает в спокойном состоянии... С каждым прожитым за границей днем сердце мое как бы обволакивалось какой-то субстанцией, оно становилось менее чувствительным к сплошному дискомфорту, к потерям... Не счесть – скольким... Да, каждый день, в общем-то, мне виделся потерей. Прошное удалялось от меня в геометрической прогрессии и виделось уже каким-то нереальным. Казалось, что уже не я был участником событий прошедшего и, как ни странно – уж совсем нереальным казалось то, что я мог бы вновь погрузиться в ту, прошлую жизнь...

Поезд мчался и мчался вперед. За окнами все больше сельские пейзажи – сады, поля. Приехал в Римини около 11 часов утра. Вышел из вагона. Как бы сказал Остап Бендер: оркестр, овации, с которыми меня должны были встретить местные жители, по какому-то, вероятно, недоразумению были отменены. Жарко. Отойдя метров 200-300 от вокзала, я встретил парочку русских. Как выяснилось – дочь с отцом. Туристы. На несколько дней приехали в Римини. Жаловались, что живут в отеле, за который приходится очень дорого платить. А есть, как они узнали, много гостиниц, где питание и проживание много дешевле. Поговорив с ними немного, я спросил, можно ли ездить в автобусах без билета. «Ну что вы! – воскликнули они. – Контролеров тьма, и ездят они не по одному, а группами, человек 6-8!» Я учел это...

Адриатика с итальянской стороны. По побережью много ресторанов, отелей. Место ровное, пляжи песчаные. Совсем другой ландшафт по сравнению с западным побережьем полуострова, где берега в основном скалистые, по меньшей мере, в северной части Италии. Я в костюме, с тяжелой сумкой, на ногах черные туфли. Хочется пить, но ничего не поделаешь, двигаюсь по побережью – ищу работу. Те, к кому я обращался с вопросом о работе, обычно улыбались и отрицательно качали головой. Кое-кто беззлобно шутил. Сейчас я хорошо понимаю это свое положение. Без разрешения на работу, без необходимых документов – кто мог рискнуть принять меня на работу?.. Да и время было уже не то, что лет пять назад. В те времена наши «туристы» были нарасхват – почти дармовая сила. Но сейчас беженцев со всего бывшего Союза было уже более чем достаточно. Да, впрочем, и тогда мне нетрудно было ощутить всю тщетность моих усилий – найти какую-либо работу.

Уже далеко за полдень я решил искупаться – все-таки Адриатика. Пляж мелкий. Правда, песчаный. Но, в общем, ничего особенного. У нас, я там понял – «круче», как говорит современная молодежь. Ну, к примеру, в Сочи (раньше, до развала Союза).

Надо было определяться с ночлегом, да и с питанием. Я покинул побережье и пошел пешком в центр города, т.е. стал возвращаться по той же дороге, что шел и в поисках рабочего места. Оттопал в общей сложности не менее 15 километров. В городе набрел на церковь. Естественно, зашел. Увидел священника. Подошел к нему и спросил, не может ли он или церковь мне помочь с ночлегом, с питанием. Склонив голову, священник ответил, что не может ничем помочь, но поблизости есть «каритас». Пройдя немного по красивым небольшим аккуратным улицам, я увидел живописную арку из красного кирпича. Вероятно, все, что ранее составляло комплекс с этой аркой, было разрушено, а арка в виде ворот еще сохранилась. А может, это специально построенная арка для украшения города. Но все же чувствовалось по форме и барельефам на арке, что строение это древнее. В глубине узенькой улочки я почти без труда нашел ворота «каритаса». Позвонил у калитки. По телефону спросили: «Кто?» Я объяснил. «Подойдите к 5 часам», – сказали мне. Я пришел к назначенному времени. В ворота входили люди. Нетрудно было определить по их внешнему виду, что это бездомные или же такие, как я, «путешественники», но уже с приличным стажем. Некоторые из них, даже итальянцы, с большими сумками. Я их понимал: путешествуют не один год и постепенно скапливаются вроде бы необходимые вещи для кочевой жизни.

Во французском языке есть слово «clochard» – нищий или бродяга. Все же «клошар» – это бродяга, т.е. бездомный, но не обязательно нищий. Это просто «гордый» человек, который не терпит замков, стен, потолков. Ему нужен свежий воздух, нужно спать на свободе, на случай дождя – под карнизом какого-то дома, с заветренной стороны, у стены дома или у забора. У него, как правило, все с собой – и подстилка, и одеяльце, и, конечно, что-то в виде брезента – от дождя. Французский клошар любит, чтобы при нем была и собака. Но это уже – «комбль!» – т.е. верх всего.

У меня попросили паспорт и очень вежливо пригласили к столу. Это был ужин. А вообще существовал еще и обед, но это с 11.30 и, кажется, до часу. Ужин неплохой – сэндвичи с колбасой, помнится, что-то из вторых блюд, молоко, кажется, фрукты. Просили не опаздывать на следующий день к обеду. А где спать? Места для ночлега они не предоставляли. Среди итальянских бродяг были и наши (к моей, хотя и недолгой радости). Весь сводный коллектив ночь проводил в основном на вокзале (о, даже вспомнить страшно!), лавируя среди полицейских. Но полицейские были не очень-то суровые. Промучился одну ночь на вокзале. Работу уже не искал. За обедом познакомился с юношей из Кишинева. Он приехал из Турина, города с крупным автомобильным заводом. Сказал, что работал там в кафе. Кстати, язык итальянский он знал хорошо. Рассказывал, что в Турине ходил на курсы итальянского и преподаватель помогал изучающим язык найти работу. Я спросил, не смогу ли я воспользоваться и курсами, и возможностью получить работу. «Да, – сказал он, – но работу ищут в основном для знающих язык. Потом – для работы в кафе предпочитают брать молодых». Вообще для земляка-кишинёвца он держался со мной несколько высокомерно. Да, у меня тогда еще совершенно не было опыта в новом мире, тем более я был без документов, без денег... Подобные мучения ему, конечно, ни в коей мере не подходили, и он, прожив два-три дня, сел в поезд и, никому не назвав конечного пункта своего маршрута, уехал.

Был, кажется, четверг – в этот день работал «гардероб», где можно было получить одежду. И, действительно, монахиня в определенные часы выдавала одежду – майки, рубашки, брюки, туфли (если были). Я приоделся. После ночи, проведенной на вокзале, хотелось спать. Подходил вечер. Опять идти на вокзал, а там, если удастся, сесть на стул и какой-то миг подремать. Но расслабляться все же нельзя было – полиция спать не разрешала. Сидишь, таращишь глаза – проходят мимо. Если спишь – проверка документов. Промучился и вторую ночь. Понял, что привыкнуть к этому образу жизни нельзя. На третью ночь вечером ко мне подошел парень из Молдовы и предложил пойти с ним в старый заброшенный дом. Он говорил, что уже спал там. Конечно, было заманчиво проспать спокойно всю ночь и в положении лежа, и без несколько назойливого внимания полицейских.

Поехали на автобусе. К счастью, не нарвались на контролеров. Приехали. Уже поздно, около 11 часов. Подошли к дому, он в глубине какого-то запущенного сада. «Да, света нет, – решил все же проинформировать меня земляк, – придется укладываться в темноте». И он решительно пролез через дыру в заборе и ринулся, по, видимо, знакомой ему тропке к дому. Я старался разглядеть во тьме полуразвалившийся дом. Что там в доме? Может, он превращен уже в общественный туалет. А потом, может, там еще кто-то обитает. Да и самого земляка я совершенно не знал. Кто он? Я вернулся и вылез из дыры в заборе. Возвратился на автобусную остановку, сел на автобус. И даже

с некоторой радостью вернулся на вокзал. Но прозябать еще одну ночь на вокзале я уже, пожалуй, не имел ни желания, ни сил. Потолкавшись еще среди своих товарищей, решил самостоятельно найти себе какой-то приют, хотя бы парк, и там как-то переночевать. Но вот возвращается мой земляк, он очень недоволен моим неожиданным бегством. Я поясняю, что если бы видел это место днем при свете, то, может быть, смог бы улечься в темноте. Пошел искать парк. Парк не нашел. Но нашел широкую улицу с газоном и кустами посреди. Газон был в форме коленчатого вала. По дороге двигались автомашины в двух направлениях. Я лег за кустами так, чтобы меня не освещали машины фарами, т.е. за одно из «колен». В моей тяжелой сумке были не только бутылки с водой, но и запасные рубашки, полотенце – все это пошло на подстилку. Я лег как можно дальше под кусты. Какие-то насекомые стали меня кусать, но я решил не обращать на это внимания и очень быстро заснул. Если даже я забрался в кусты около часа ночи и проспал до пяти или шести утра, то это уже было для меня очень здорово.

Вышел из кустов, когда на улицах еще ни прохожих, ни машин. Это, помнится, было воскресное утро. Оказывается, я спал вблизи канала. По ступенькам взвошел на парапет. В тихих водах канала, выходящего в густо-синее море, покачивалось множество лодок – моторных, парусных, каких-то причудливых небольших пароходиков, украшенных флажками и флагами. Счастливые люди – хозяева этих лодок и шхун с разноцветными парусами – сейчас они, наверно, еще спали в своих постелях, на белых простынях. Во время уик-эндов или каникул, отпусков они со своими семьями, друзьями выходят в море на этих фантастически прекрасных плавсредствах. «Да! – вздохнул и подумал я. – Они живут так, как и положено жить нормальным людям в хотя бы немногих цивилизованных странах». Помнится, мне было тягостно не оттого, что кто-то живет хорошо, а оттого, что и у самого раньше тоже что-то имелось. Может, и не такое, но надежное, привычное и потому уже приносящее удовольствие. Ну, и если по правде – разве мало было у нас своего – и дома отдыха, и туристические базы, курорты с прекрасными пляжами, охота, рыбная ловля – всего не перечислишь. Сейчас, стоя на парапете в лучах разливающейся по краю неба зари, я жевал кусок хлеба и совершенно равнодушным взглядом осматривал атрибуты счастья других людей, совсем не таких, как я. Мы находились на таких далеких друг от друга социальных уровнях. Полная безнадежность пронзила мое сердце. Выхода из своего положения я не видел. О возвращении нечего было и помышлять...

Позавтракав в 11.30 в «каритасе», я направился на вокзал, конечно, с некоторой радостью. Я уже говорил: мне хотелось двигаться, вероятно, в подспудной надежде найти где-то нужное, более удачное место. (Отвлекаясь, скажу: такие места в природе существуют, их надо искать, если ты уже в пути, а не на подушке...) Решил возвращаться в Милан, другого выбора у меня пока не было. До отъезда я еще походил, поспрашивал в окрестностях города работу. Нашел и базу (администрацию) по уборке овощей и, в частности, помидоров. «О! – сказал мне служащий, – мы берем своих, старых сезонных работников, да у нас и списки есть». И он показал мне тетрадь с множеством фамилий. «Да и потом, – добавил он с сочувственной улыбкой, – с такими документами, как у вас, мы вряд ли сможем вас принять на сезонную работу...» С чувством выполненного в какой-то мере долга – все-таки кое-что разузнал о работе, я пошел к вокзалу, к поезду на Милан. Обманув контролеров, добрался без билета до места назначения. Время уже было к вечеру. Приблизительно помня адрес ночлежки, о которой мне еще до моего отъезда в Римини говорили двое чернокожих парней, я подошел к автобусной остановке. Расспросил стоявших там людей. Мне повезло. Чернокожий парень сел со мной в автобус (ему было по пути), сказал, где мне выходить. Выскочив из автобуса, я помчался к предполагаемому входу пока еще не совсем определенного для меня учреждения.

Был вечер, и я не зря поспешил. У калитки стоял высокий цветной парень. Он уже закрывал двери, но, оценивающе взглянув на меня, все же пропустил. В помещении, более напоминающем просторный вытрезвитель, в коридоре за столом сидел пожилой полный человек. Он по представляемым документам записывал всех постояльцев, ночующих в этот вечер. Цветной парень, узнав, что я владею французским, сказал мне, что шеф тоже говорит по-французски. И, действительно, регистратор с видимым удовольствием стал говорить со мной на превосходном французском. Позднее я узнал, что он 10 лет жил во Франции. Взяв мой паспорт, он сказал, что здесь сейчас есть люди из Молдовы. Мне показали кровать. Кровати стояли в два яруса (как в армии, подумал я). Моя была на первом. Пригласили к ужину – кофе, булочки.

После ужина стал искать земляков. Основную массу составляли цветные – южноамериканцы, много мусульман из Северной Африки. Но были и румыны. Нашел я и земляков, даже кишиневцев. Их было трое. Валера – лет сорока пяти, Дима – сорока, Саша – двадцати восьми. Я был очень рад такой встрече. Всего несколько дней пробыв за границей, я уже тосковал по Родине, по родному языку, по своим землякам...

На следующий день с утра мы пошли с Сашей в «каритас», и я там записался на питание. Для этого надо было сфотографироваться на пропуск, что я и сделал в автомате на уже хорошо мне знакомом «Стационе централе».

Кормили здесь только в обед. Мы называли это место «Под ключ», потому что в назначенное обеденное время калитка из толстых железных прутьев открывалась электронным ключом. Ключи выдавались каждому при регистрации, сроком на месяц. Потом надо было перерегистрироваться. Кормили так себе. Обычно макароны с чем-то похожим на мясную котлету. Обязательно фрукты, чаще яблоко. Хлеб. И, кажется, все. Но до обеда мы еще ездили на автобусе, разумеется, без билетов, на «молоко». Этот пункт питания работал с 10 до 11.30. Всем, кто подходил, там выдавали продукты без записи и без документов. Обычно молоко в пачках, йогурты, печенье или батоны. Также фрукты – дыни, бананы. В общем, с голоду даже без денег не умрешь, но поездки по точкам питания поглощали основную часть дня. А после обеда обычно мы с Сашей, да и многие другие, шли в парк, где можно было в тени огромных каштанов и каких-то незнакомых деревьев отдохнуть в самые знойные часы. Парк расположен, пожалуй, в центре Милана.

В это лето было мало дождей, стояла жара, и трава вдоль тротуаров была выжжена ярким и, казалось, необычайно неумолимым солнцем. Больше месяца мы с Сашей неразлучно крутились в такой, можно сказать, карусели – ночлежка, посещение пунктов питания, парк. Парк, правда, красивый, с искусственным озером, в чистой голубой воде которого плавали красные и черные рыбы, а по поверхности скользили дикие утки. В парке множество скамеек, на которых можно посидеть и полежать. Я нередко лежал на скамейке, глядя на высокие вершины деревьев и на по-особому голубое итальянское небо. Какое это было страшное для меня время. Здесь я впервые познал глубокую безысходность. Это одно из жутких состояний, какие только могут случаться в жизни...

Наши с Сашей поиски работы не увенчивались никакими, даже минимальными успехами. Саша вообще все время мечтал вернуться в родной Кишинев, но как это сделать, не знал. Очень хорошо помню, как безразлично, скорее всего, осуждающе и угрюмо глядел он на весь этот солнечный, сверкающий мир, мир, в свою очередь – глубоко равнодушный вот к таким одиночкам, как мы с Сашей. Саша предполагал заработать на билет и с честью уехать домой. Но работой и не пахло.

Грустно протекали дни, похожие друг на друга, как дождевые капли. Как-то, узнав, что в городе есть русские церкви, мы решили их найти. Саша надеялся, что, может, с их помощью сможет вернуться домой. Нашли адреса. В первое же воскресенье с утра мы уже были у церкви. Мы думали, что увидим на самом деле русскую церковь – с куполами, колоколами, а это была комнатуха с открытой верандой. Священник вел литургию, можно сказать, на итальянском языке, только молитвы «Отче наш» и некоторые другие, читаемые в православных церквях во время литургии, он с ошибками, немного коверкая слова, читал на русском. Какая-то женщина (естественно, итальянка) ему прислуживала. А прихожан вместе со мной и Сашей было аж 8-10.

После службы мы подошли с Сашей к священнику. Это был добродушный, приветливый итальянец с седой, белой, как и положено православным священникам, бородой. Смущенно улыбаясь, он нам сказал, что по-русски, к сожалению, не говорит, а молитвы знает наизусть. Саше кто-то говорил, что церковь иногда помогает – может дать денег или даже купить на поезд билет для возвращения «блудного сына» домой. Так как Саша не знал итальянского, я стал вести за него переговоры с батюшкой, чтобы он сжалился и помог этому юноше (без денег, без работы и без крова) выбраться из Италии. Но добрый человек (а батюшка, несомненно, был человеком доброй души) сказал, что приход у него очень маленький и никакого существенного дохода не приносит. Да это было и видно. Но все же он достал из кармана, из собственного кошелька и протянул Саше, кажется, 20 тысяч лир. «Вот, что могу...» Когда мы вышли из церкви, я заметил, что Саша, который часто хандрил, слегка воспрянул духом и повеселел. Первая маленькая удача вселила в него надежду, что мы сможем таким образом собрать на дорогу.

Потом мы нашли другую русскую церковь. Священник здесь уже не был похож на добродушного служителя православной церкви. Нас с Сашей он, вероятно, сразу раскусил. То есть понял, что

никакого дохода мы его приходу не принесем, а вот, не дай Господь, стащить что-то с блюда, на которое порядочные прихожане при входе кладут лиры, такие, как мы, по его мнению, могли. Я оценил обстановку и понял, что здесь ничего мы не получим. Но странное, неожиданное для меня свойство души проявил в этой церкви мой товарищ. Во время литургии он, опустив свою красивую русую голову, по-моему, что-то соображал. Я грешным делом предполагал, что он мысленно разрабатывает план более успешного получения денег от священника. Но он мне вдруг высказал совершенно противоположное решение: «Люди приносят в церковь деньги, а я хочу их взять у нее. Так нельзя!» На этом мы и остановились. Даже и не попытались обратиться к священнику с просьбой. Правда, в церковь еще пару раз наведывались. Кажется, к большому неудовольствию священника.

Здесь мы познакомились с молодой русской женщиной, которая вышла замуж за итальянца. Она вместе с мужем приходила на службу. Муж ее, простой, душевный человек, лингвист по профессии, знает около 15 языков. С нами он говорил на не совсем безупречном, но вполне понятном русском языке. Они, вероятно, понимали, что мы, как беспризорные щенки, ищем у всех встречных какой-то помощи. Но и мы чувствовали, что они сами совсем бедные. Они всё ждали гонорара за его перевод какой-то древней, кажется, индийской книги. Женщина, ее, помнится, тоже звали Галей, как-то нам сказала, что у мужа есть машина, но нет денег даже на бензин...

У красивого и очень древнего храма Святого Марка с мемориальной табличкой, сообщающей, что здесь в свое время был сам великий Моцарт, была бесплатная столовая. Тоже «каритас». Здесь кормили без всяких записей и намного лучше. Мы с Сашей стали в ней обедать. Около храма на небольшой площади в тени высоченных каштанов – фонтан с чудесной прохладной водой. Около него всегда суетятся голуби – понятно, с рассвета до заката жара. Над фонтаном изваянный из камня во весь рост, возможно, сам Святой Марк.

Как-то мы встретились здесь и разговорились с парнями из России. Узнав, что я говорю по-французски, они стали убеждать меня переехать во Францию. Говорили, что Франция более демократичная и более богатая страна и что там легче найти работу, да и платят больше. Я им верил. Да только легко сказать: «Переезжайте во Францию!» А как? Во-первых, и это мне казалось самым главным препятствием, как пересечь границу без визы? Эти же ребята убеждали, что пересечь границу несложно, у них, по всей видимости, был богатый опыт. То, что границу пересечь легко, я не очень верил. Через неделю я вновь встретился с ними у фонтана, возле храма Святого Марка. «Как, вы еще здесь?» – удивленно, если даже не возмущенно воскликнул один из них. Их искреннее удивление и, конечно, явная благожелательность убедили меня поехать попытать счастья во Франции. Да собственно я и не мог мириться с тем положением, в каком уже находился более месяца. Маршрут я знал. Надо было добраться до города Вентимилля, что на побережье Средиземного моря – последний пограничный город со стороны Италии. А первый пограничный город на том же побережье со стороны Франции – Ментона. Я решил ехать до Вентимилля, а там уже по обстановке решать, как пробираться дальше.

Приехал в Вентимиль. Сошел с поезда. Маленький уютный южный город. Сосны, пальмы, цветы. Сразу за городом поднимаются горы. Я походил по парку, который был рядом с железнодорожным вокзалом. Познакомился с парочкой пожилых французов, отдохавших в парке на скамейке. Осторожно попытался разведать у них, проверяют ли полицейские в поезде визы на въезд во Францию. «Конечно, конечно...» – ответили мне, вероятно, очень законопослушные граждане Франции. Но я все же решил рискнуть. Купил билет до Ниццы и вошел в вагон. Стоял жаркий июльский день. Я забросил подальше на верхнюю полку свою сумку, а сам сел в стороне, поближе к двери. В Ментоне в вагон действительно вошли двое полицейских, вооруженных пистолетами, сзади у них висели наручники. Разговаривая меж собой, они прошли мимо и остановились недалеко от меня, не прерывая беседы. Вскоре на какой-то станции они вышли. Ехали недолго, около получаса, и вот на одной остановке я увидел скромную надпись – «Ницца». «Она ли, – думаю, – такая невзрачная?»

Вышел из поезда, озираясь по сторонам. Перешел по подземному переходу на вокзал, к выходу. Не очень высокие, в три-четыре этажа кирпичные дома. Улицы залиты солнцем. Жарко и многолюдно. Я прошелся по одной из улиц. Вернулся к вокзалу. Здесь встретил молодую парочку – румын и румынка. Они меня предупредили, что здесь, в Ницце, полиция очень строгая и что мне лучше не светиться на вокзале. Я решил идти к морю. От вокзала улицы спускались вниз, к побережью. День уже заканчивался, неприметно, как это бывает в разгар лета, он начинал пере-

ходить в вечер. Загорелые люди, как обычно в южном городе, расположенном на берегу теплого моря, ходили парами и группами, весело переговариваясь. В магазинах и кафе на первых этажах кое-где уже загорались вечерние огни. Я добрался до моря. Разделся на каменистом пляже и вошел в воду. Море как море. Когда я вышел, то смог еще погреться под закатным солнцем. Рядом со мной на коврике расположились парень и девушка. Не помню, как, но вскоре у нас завязался разговор. «О, здесь плохо иностранцам без права на постоянное местожительство, – говорили они мне убежденно. – Все из-за того, что в Ницце (и вообще на побережье) живут в основном богатые, они вынуждают полицию очищать город от подозрительных личностей, от различных «путешественников». Дав мне несколько «бесплатных руководств» о том, как выкручиваться из моей незавидной ситуации, парочка оделась, вспорхнула и пропала.

Я снова остался один. Оделся и поднялся на набережную, пошел по центральной, среди прогулочных, аллее. Называется она, если перевести, «Аллея прогулок англичан». Солнце уже село где-то далеко за морем. И вместо солнца над спокойной и уже застывшей от сумерек гладью моря опустилось странное фиолетовое с розовым сияние. Люди, весело переговариваясь, ходили взад и вперед по аллеям и как будто не замечали этого дива. Посидев немного на одной из скамеек (а их много вдоль этой аллеи), полюбовавшись закатом, я пошел на поиски какого-либо подходящего места для ночлега. Хотелось есть, хотелось пить. (Наверное, был и уставшим, но это уже в таком бессрочном походе не принималось во внимание). Встретив на пути парк, я вошел в него – пальмы, цветы, скамеечки, на скамеечках люди, но все чужие, да и я для них был не только чужим, но и совершенно нежелательным. Так мне тогда казалось. В парке, маленькая радость, я нашел водопроводный кран. Напился и за прошлое и на будущее. Острее почувствовал голод. Сумерки уже из синих превратились в густо-черные. Но в освещении Ницца не испытывает недостатка.

Продолжение следует.

